

СБОРНИК СТИХОВ
ИЛЛЮЗИЯ ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ

«И на Земле нет ничего от жизни кроме лжи,
и я устал во лжи этой жить...»



«И когда осыпаются последние декорации,
не остается ни страха, ни боли.
Лишь бесконечная, глухая усталость от того,
что нам пришлось называть реальностью.
Жизнь - это сон, от которого у нас
больше нет сил просыпаться»

Сергей Моисеев

Иллюзия по имени Жизнь

«Автор»

2026

Моисеев С. К.

Иллюзия по имени Жизнь / С. К. Моисеев — «Автор», 2026

Однажды выключатель щёлкнул на миг раньше, чем погас свет. Отражение опоздало на такт. На обоях разошёлся шов – и под ним оказалась бумага. «Иллюзия по имени Жизнь» – сборник стихотворений с элементами прозы о человеке, который понял, что живёт внутри диорамы: кукольного дома, нарисованного карандашом, с которого сняли крышу. Механизмы мироздания здесь не злы – они просто работают. Демиург не жесток – он скучает. А Система повторяет один приказ: «Живи. Продержись». Пять глав – пять этажей спуска: от швов в вещах к маскам на лицах, от картонного неба к горнилу и дальше – в ночь, где сквозь щель под дверью пробивается свет. Стихи разных форм чередуются с прозой: уведомлением жильцам, пьесой, сказкой и письмами себе в прошлое. Вторая книга трилогии, продолжение «От Заката до Рассвета», но её можно читать отдельно. О том, что держит человека на краю, – и о том, что белое вокруг может оказаться не пустым, а нетронутым. Иллюстрации созданы с помощью нейросети Google Gemini.

© Моисеев С. К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Системный дисклеймер	5
Предисловие: Графит	13
Глава I. Онтология простых вещей	33
Рыбка	35
Диорама	38
Фантомный класс	41
Эхо на детской площадке	44
Чашка с отбитой ручкой	47
Выключатель	49
Дверца шкафа	52
Пылинка в луче	55
Глазунья	58
Тополиный снег	61
Запах свежескошенной травы	64
Запах озона и пыли	66
Бесконечный осадок	68
Проекция	71
Конденсат	74
Зимние хокку	76
Ёлочный шар	79
Старый Новый год	82
Уведомление жильцам (документ в прозе)	86
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Иллюзия по имени Жизнь

Системный дисклеймер

ВНИМАНИЕ.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ «ИЛЛЮЗИЯ ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ»

ТИП ИЗДЕЛИЯ: ДИОРАМА.

СБОРНАЯ МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ В МАСШТАБЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЕДИНИЦ. ПЯТЬ УРОВНЕЙ.

ОДИН ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ РАМКИ.

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 18+. СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ ОЗНАЧАЕТ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ НИЖЕ.

ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО – КАК НЕ БЫЛО ОНО ПРЕДУСМОТРЕНО И ПРИ ВАШЕМ РОЖДЕНИИ.

1. ЧТО ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ

Настоящий документ удостоверяет, что изделие изготовлено из бумаги. Проверьте это сейчас, пока ещё можно. Проведите пальцем по краю страницы, почувствуйте её сухую, чуть шершавую кромку, её обыкновенный, ничего не обещающий вес. Если перед вами экран – проведите по его гладкой холодной границе: это та же бумага, только светящаяся. Запомните это ощущение: оно понадобится вам позже как точка отсчёта.

Дальше бумага перестанет быть просто бумагой. Она окажется тем же материалом, из которого сделано всё остальное. Это тонкий лист, на котором кто-то однажды, от нечего делать, набросал мир простым карандашом. Небо он заштриховал косыми линиями. Дома провёл по линейке, поворачивая её вокруг одной булавки на горизонте. Людей обозначил торопливыми овалами без лиц, собираясь дорисовать их позже, и так и не дорисовал. Графит этих страниц и графит того неба – один и тот же графит. Вы держите перед собой не описание диорамы. Вы держите её кусок.

Это дневник системной ошибки. Хроника одного зрения, которое однажды включилось не вовремя и больше не выключилось. Начинается она с малого.

Вы подходите к зеркалу, чтобы посмотреть себе в лицо без искажений.

Ваш двойник, придвинувшись к углу стекла, отстаёт на такт – на долю секунды, ровно настолько, чтобы вы поняли: он не отражение. Он исполнитель, опоздавший к реплике. После этой доли секунды жить по-прежнему можно.

Не видеть – уже нельзя.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. АРХИТЕКТУРА ДИОРАМЫ

Изделие представляет собой кукольный домик в натуральную величину, с которого снята крыша. Её сняла не буря и не взрыв. Её однажды подняли, как поднимают крышку коробки, чтобы проверить, на месте ли игрушки, – и забыли вернуть.

В образовавшийся проём смотрит взгляд. В нём нет ни ненависти, ни любви: ненависть и любовь требуют внимания, а внимание давно израсходовано. В нём есть та особая, выцветшая скука, с которой взрослый смотрит на детскую возню за игрушечными чашками, ложками и стульями, заранее зная исход каждой ссоры. Этот взгляд принадлежит Демиургу – проектировщику, который запустил проект ради мимолётной забавы и давно перестал следить за его судьбой.

Сам Демиург ни к чему не прикасается. Работу выполняют Великие Механизмы: гранитное время, которое не течёт, а оседает глыбами непрощённых обид; гены и биохимия, кроющие судьбы сухо и гладко, как портной, у которого нет ни одного живого клиента, только выкройки; тяготение, которое мы по привычке называем опорой; рок с его тяжёлыми, никогда не смазываемыми шестернями; и ещё с десятков мелких – Случай, Инерция, Привычка, Перспектива, Забвение, – которые в паспорте указывать не принято.

Механизмы не злы. Злость предполагала бы интерес. Лучший их портрет – газонокосилка, выходящая в полдень на двор. Она ревёт, равнодушная к желтизне одуванчиков, к пчёлам на их лепестках, к самой идее цветения. Она не выбирает жертв по характеру или заслугам. Она выбирает геометрию ряда.

Внутри диорамы работает Система. Она дробит жизнь на двенадцать разделов нелепого быта и три тысячи мелких заданий: квитанция, очередь за акционным чаем, будильник, принтер, давящийся листом, «Здравствуйте, коллеги!», вынести пакет, передать привет. Эти задания не нужны никому.

Они нужны для того, чтобы сознание было занято до самого вечера и не успело поднять глаза к проёму, где раньше была крыша.

У Системы есть единственный приказ. Она повторяет его в каждой строке своего кода с терпением, которое легко принять за заботу: «Живи. Продержись». Она держит вас в плену ровно тем же движением, каким не даёт упасть. Люстра не выдержит. Снизу прибежит ругаться сосед. Кот не кормлен и смотрит тяжело. Идти за мылом лень. Тюремщик и якорь здесь – одно и то же лицо.

И везде, где рука проектировщика дрогнула или поленилась, остаются швы. Это места, где штриховка обрывается и проступает чистая, неразмеченная бумага. Сквозь них сочится то, для чего в диораме не предусмотрено слова:

чёрный код, бегущий по металлу за оконной рамой;
тишина, в которой звук капли приходит в эмаль на секунду позже самой капли;
вакуум, холодный и беззвучный, как сквозняк из форточки в комнате, где нет окна.
Эта книга – летопись того, как один человек научился видеть швы.
Сначала в вещах. Потом в людях. Потом в самом небе. Потом в себе.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ. ЗОНЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО РАСПАДА

Ниже приводится карта содержимого. Её составил не наблюдатель со стороны, а тот, кто наступил на каждую из обозначенных мин, запомнил звук, с которым она срабатывает, и собрал из осколков то, что от него осталось.

Каждая зона завершается строкой маркировки, изложенной без метафор. Метафоры здесь опасны. Маркировка – нет.

3.1. Швы в вещах.

Мир истончается не в катастрофах, а на кухне. Остывающая кофейная жижа в фарфоровом теле чашки. Качели на пустой площадке скрипят ржавыми цепями, и в их радиусе нет ни одного ребёнка. Воздух так густо пропитан озоном и пылью, что вдыхать его – как глотать

батарейки, смешав их с опилками прожитых лет. Тополиный пух оказывается пеплом сгоревших декораций и лезет в горло едкой пылью. Предметы теряют плотность: стол под ладонью становится плоским, кресло сползает, обнажая сетку, а за шторой нет ни осени, ни июля. Самое страшное в этой зоне – её обыденность. Ничего не случилось, и всё уже не так.

Маркировка: переживание дереализации и деперсонализации – ощущение нереальности мира и собственного «я», описанное изнутри.

3.2. Рынок суррогатов.

Представьте субботний рынок: ряды под выцветшим тентом, весы с подкрученной стрелкой, продавщица, которая называет вас «золотце», не поднимая глаз. Здесь так же торгуют людьми – точнее, тем, что от них осталось. Улыбка подсмотрена у соседа по прилавку. Удивление заучено по сериалам. «Я люблю» отпускается на развес, как пароль к убежищу, за стенами которого удобно прятать звериный страх остаться одному в безмолвной комнате. Герой не выносит толпе приговор со стороны – первым он разбивает собственное лицо и находит под картоном не суть, а глухую мёртвую землю. На задворках этого рынка двое калек служат литургию в пустом храме, причащаясь из незаживших ран, а случайная пьяная ночь в душном пару оказывается честнее тысячи выверенных ритуалов.

Маркировка: разрушительные отношения, откровенная телесность и сексуальная сцена, алкоголь, беспощадная критика человеческой близости.

3.3. Великие Механизмы.

Масштаб меняется. Вопрос задаётся уже не соседу по маршрутке.

Он задаётся тому, кто за гранью. На коленях. В слезах. Потом в ярости.

Потом снова на коленях. Ответ – тишина, глухая, как стена в подвале.

Дальше – протокол. Воля: фантом. Любовь: цепь совпадений, химический отклик. Личность: выкройка, сшитая до рождения. Тело: гниющая слизь, когда остановятся потоки в жилах; могильные черви стирают с неё человечье заглавие. Подпись: Великие Механизмы. Претензий к исполнению не имеют.

Последним в этой зоне остаётся смех – сухой, на самом краю, – и одна сказка, в которой Механизмы проигрывают. До утра.

Маркировка: богоборчество и богохульство, радикальный детерминизм, натуралистические образы смерти и разложения.

3.4. Внутренняя алхимия.

Если мир нельзя починить, остаётся перестроить себя так, чтобы ему нечего было ломать. Страх бросается в горнило. Близкие хоронятся заранее – в памяти, при жизни, с заранее выбранными венками и собственноручно вычерченным гранитом, – чтобы настоящая смерть не застала сердце врасплох. Операция проходит успешно, и её результаты описаны с клинической точностью:

еда на вкус как вата и слюда;

во рту прорастает плесень, и любой поцелуй отдаёт стоячей водой;

клубничный сироп и солнечная лужайка текут по строкам вперемешку с вивисекцией, и одно не отменяет другого.

Любовь, пропущенная через эту алхимию, перестаёт быть чувством и становится хирургией. Тела сращиваются в одну липкую сеть, лица стекают в амальгаму, соцветия прорастают сквозь глазницы.

Маркировка: ангедония и депрессия, образы самоповреждения и телесного разрушения, натуралистический боди-хоррор, психологически жестокие сцены.

3.5. Ночной дефект.

Броня, отлитая в предыдущей зоне, не выдерживает ночи. Днём герой шутит, решает чужие проблемы, благодарит всех за всё. Ночью батарея садится на ноль, и бравада опадает с лица, как штукатурка. Мысль о конце звучит в этой зоне фоновой нотой – ровной и постоянной,

как гул холодильника, который замечаешь, только когда он смолкает. Здесь умирает человек, которого любили: просто умирает, и всё, и рассыпается карточный дом. Здесь стоят на грани так долго, что грань становится троном, работой и последним путём.

Маркировка: суицидальные мысли и настроения, упоминания суицидальных попыток, гротескные фантазии о способах ухода из жизни, смерть близкого человека, изображение тяжёлого депрессивного состояния.

3.6. Эмпирический клапан.

Когда давление философии превышает её прочность, срывает клапан – и высокий слог, только что говоривший о вечности и шестернях мироздания, с грохотом обрушивается в мат, в одно короткое некрасивое слово, повторённое десятки раз, как заклинание наоборот, а самоубийство, спланированное всерьёз и расписанное по пунктам, срывается из-за грязного МАЗа, новой куртки и некормленного кота, и это смешно, и от этого смеха хуже, чем от слёз, а книга тем временем ломает четвёртую стену и издевается над читателем, над своим автором и над собственным названием, – и всё это не брак изделия, а то единственное, что удерживало его от окончательной поломки.

Маркировка: нецензурная лексика, чёрный юмор на тему самоубийства, цинизм, обращённый в том числе к читателю.

3.7. Свет.

Наиболее опасный компонент изделия. Эта зона не отмечена ни на одной прежней карте, потому что составители прежних карт считали её безопасной. Среди суррогатов попадает одна настоящая монета: живая женщина с упрямой искрой в глазах, пантера, ступающая по лучам рассвета. Среди выжженного сада – утро, роса на травинках, малая птица на тонком суку. Среди цинизма – решение остаться слабым и смешным, лишь бы не задохнуться от гордого удушья. Этот свет обезоруживает сильнее боли, потому что его нельзя прожить до конца. А то, что выжигали и не дожгли, всегда прорастает сильнее. Читатель, защищённый от тьмы, может оказаться не защищён от этого.

Маркировка: сильные переживания любви – невозможной, утраченной, неистребимой; нежность, которая соседствует с отчаянием и не отменяет его.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Изделие не предназначено для тех, у кого сейчас нет пола под ногами.

Это не деление на сильных и слабых. Такие деления любит Система, книга их не любит. Бывают времена, когда человек идёт по жизни, как по льду, который трещит при каждом шаге, и держится только тем, что не смотрит вниз. В такое время эта книга – не зеркало и не собеседник. Она – рука, которая настойчиво поворачивает вашу голову вниз, к трещине.

Не открывайте её сейчас, если вы:

недавно потеряли близкого человека, и горе ещё не остыло до температуры, при которой его можно держать в руках, не обжигаясь;

слышите в себе мысль о конце не как литературный образ, а как ровный настойчивый фон, и узнали её голос в предыдущем разделе;

последнее время видите мир плоским, картонным, чужим и не уверены, что это пройдёт; ищите утешения, и оно нужно вам сегодня, прямо сейчас, а не когда-нибудь.

Эта книга не станет бинтом. Слова, которые в другой день были бы просто тяжёлыми, в такой день лягут солью на рану и откроют сквозняк из открытого космоса прямо в пробитую грудную клетку. Коробка никуда не денется. Она подождёт на полке столько, сколько нужно. Диорама терпелива: ей некуда торопиться, её время давно застыло гранитом.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Читайте при свете. Не залпом. Между уровнями делайте перерыв – достаточный, чтобы выпить чашку чая, пока она ещё горячая.

Если во время чтения граница между страницей и комнатой начнёт истончаться – если вам покажется, что кран за стеной капает с задержкой, а отражение в тёмном окне отстаёт на такт, – прервите чтение. Воспользуйтесь простыми вещами. Это единственный закон диорамы, который работает в обе стороны: вещи здесь тюремщики, но они же и якоря.

Положите ладонь на стол и почувствуйте его шершавую, неровную, упрямо настоящую поверхность.

Подставьте запястье под холодную воду и дайте ей обжечь кожу.

Покормите кота, если он у вас есть: он смотрит тяжело и имеет на это право.

Скажите что-нибудь вслух тому, кто рядом, или наберите номер того, кто далеко.

Мир, конечно, бутафория. Но это бутафория, которая держит.

Помните также, что перед вами летопись, а не маршрут. Путь героя через выжигание собственной уязвимости – художественное исследование того, где кончается человеческая прочность. Это не инструкция, по которой её следует проверять. Карту минного поля составляют для того, чтобы на мины не наступали, а не для того, чтобы по ней шли.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийные обязательства на изделие не распространяются.

Производитель утратил интерес к изделию задолго до его изготовления и с тех пор не вмешивался в его работу. Претензии не принимаются по причине отсутствия того, кто мог бы их принять. Адрес для обращений указан на обратной стороне картонного неба.

6.2. Изделие не гарантирует спасения.

Изделие не гарантирует гибели. Оба компонента в комплекте отсутствуют, и их отсутствие не является дефектом комплектации.

6.3. Изделие не гарантирует смысла.

Изделие не гарантирует бессмыслицы. Изделие не гарантирует...

6.4. Итоговое состояние пользователя по завершении пятого уровня и выходе за рамку сюжета: сведения отсутствуют.

Повторный запрос: сведения отсутствуют.

Повторный запрос: свобода / угасание – выбор значения невозможен, значения совпадают.

Повторный запрос: третье значение – в комплектации не предусмотрено.

Повторный запрос: сведения отсутс...

Система повторяет запрос и получает в ответ тишину – ту самую, что звенит за картонным небом, когда на долю секунды замирает весь шум муравейника: голоса, шаги, скрип дверных петель, дребезжание посуды в раковине.

7. ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОЧИТАЕТ

Когда вы перевернёте последнюю страницу, подойдите к окну.

Там будет всё то же самое:

панельки, впитывающие мглу;

утренний кортеж маршруток и хмурых затылков;

кассирша с вымершими глазами, в которых застыла вечная русская слеза;
фонарь, вырезающий из темноты горящий квадрат и кладущий на обои тень от столба,
похожую на чёрный языческий крест.

Документ не знает, что вы там увидите. Возможно, швы: места, где штриховка обрывается, повторяющиеся жесты, лица, собранные из чужих интонаций. А где-то в самой середине этого абсурда – холодную, твёрдую точку опоры, похожую на свободу. Возможно, ничего: ровную серую гладь, в которой больше нечему болеть. Тишину, неотличимую от покоя.

Покой, неотличимый от тишины.

Эта книга не скажет вам, какое из двух зрений лучше. Она этого не знает. Её герой дошёл до места, где кончаются координаты, и посмотрел на себя.

Что он увидел – наконец сорванную маску или наконец стёртое лицо, – документ сообщить не вправе. Он не взвешивает. Он только предупреждает: вопрос останется у вас на сетчатке, как след от яркого света, когда закрываешь глаза.

8. ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕ...

Хватит.

Я не умею говорить голосом Системы до конца. Я пробовал дольше, чем стоило. Поэтому последнее скажу своим.

Всё написанное выше – правда, но это правда в изложении того, кто научился говорить холодно. А я знаю и другое. Я знаю, как ночью садится батарея. Знаю, как грань, на которой стоишь слишком долго, начинает казаться единственным честным местом на свете. Знаю, как легко принять собственную тьму за открытие, которое обязательно нужно проверить до конца.

Не проверяйте.

Эти стихи писались не для того, чтобы кто-то прошёл их путь следом. Теперь я понимаю: они писались потому, что, пока пишешь, в тебе ещё что-то не выжжено. Каждая строчка здесь – улика против собственного приговора.

Я до сих пор не знаю, чем кончилась моя дорога. Но одно знаю точно: один честный взгляд, в котором написано «ты ещё живой», весит больше всей ледяной геометрии, которую я выстроил, чтобы в нём не нуждаться.

Если вы откроете эту книгу и узнаете себя – не в образе, не в метафоре, а буквально, всем телом, – закройте её. Это не поражение. Найдите живого человека. Не того, кто всё поймёт: такого может не оказаться рядом. Просто того, кто сейчас близко и тёплый. Скажите ему вслух хоть что-нибудь.

А если ваша тьма – литературная, если вам просто нужно посмотреть в неё, чтобы она перестала быть безымянной, – тогда входите. Я не поведу вас за руку. Но я оставил вам фонарик – тусклый, карандашный, с садящейся батареей.

Его хватит, чтобы видеть швы. Его не хватит, чтобы обещать выход.



Искусству не положено быть нежным:
Ему не выдан бинт, не выдан ключ.
Оно – лишь шов, оставленный небрежно,
Где сквозь картон сочится чёрный луч.
Оно не лечит и не обещает
Ни берега, ни дна, ни рубежа.
Оно, как кран с задержкою, роняет
По капле правду – медленно, дрожа.
И если ты узнал в строке не образ,
А собственную ночь, – закрой. Иди
К живым. Туда, где кто-то, тёплый, добрый,
Не выгорел, как свет в моей груди.
А если тьма твоя – пока что тема,
Вопрос, которому не дали слов, –
Входи. Над домом крыши нет. Вот где мы:
В коробке, сшитой из одних лишь швов.

Открывая эту книгу, вы поднимаете крышу.
Теперь сверху смотрите вы.
Постарайтесь не заскучать.

Добро пожаловать в Иллюзию по имени Жизнь.

Предисловие: Графит



Исповедь того, кто держит карандаш

ДОКУМЕНТ ФИКСАЦИИ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО СДВИГА.

ЭКЗЕМПЛЯР ЕДИНСТВЕННЫЙ. ИЗЪЯТ ИЗ АРХИВА СИСТЕМЫ.

СТАТУС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ: НЕ УСТАНОВЛЕН.

Истина не обрушивается громом. Она не приходит под нарастающую музыку, как в кино, и не ослепляет, как молния в ясный день. Она просачивается – медленно, по капле, с той самой задержкой, с которой звук падающей воды достигает эмали, – сквозь микроскопические трещины в самых обыкновенных вещах.

И однажды ты замечаешь, что всё, что принято считать незыблемым, осязаемым и подлинным – стены, лица, небо, собственное имя, – лишь безупречно заштрихованный набросок, который так и не довели до конца. Ткань бытия истончается под пальцами, как бумага, которую слишком долго тёрли ластиком, и сквозь протёртые места проступает чистый, неразбавленный вакуум.

После этого зрение уже нельзя вернуть обратно.

Оптика меняется навсегда, и ты остаёшься наедине с холодной, режущей правдой. Можно только решить, что с ней делать.



За тонким слоем выцветших картин
Не бездна ждёт, а белый лист без взгляда.
Мы спим на дне невидимых рутин,
Среди теней остывшего фасада.
Мир, нарисованный карандашом,
Потрёпанный ветрами и дождём, –
Я в нём ищу, среди пустых аллей,
Хоть штрих, который был бы чуть ясней.

* * *

Меня набросали небрежно и косо,
Оставив пробелы на месте лица,
И бросили лист, не решив ни вопроса,
Ни рамки, ни фона, ни даже конца.
И я дорисовывал сам, как умею,
Огрызком графита, штрихом наугад.
Штрихую глаза – прорезаю – немею
И вижу в просвете: бумага и взгляд.

I. НЕДОРИСОВАННЫЙ

Начну с признания, которое в любой порядочной книге стояло бы в самом конце, после долгих глав, выстроенных так, чтобы читатель успел к нему подготовиться. Меня нарисовали не до конца. Не изувечили, не прокляли, не обделили – просто не дорисовали.

Кто-то провёл вспомогательные линии, наметил овал головы, бросил два коротких штриха на месте плеч. Поставил на лист, чуть наискось, прямоугольник окна, за которым полагось быть улице. И отвлёкся. Может быть, на звонок. Может быть, на другой лист, поинтереснее. А может, ему просто стало скучно, и карандаш лёг на край стола, скатился, упал куда-то под батарею, и никто за ним больше не нагнулся.

Так бывает с набросками. Их не выбрасывают – жалко бумаги, – но и не заканчивают. Они годами лежат в папке, желтеют по краям, и линии на них понемногу стираются от трения о соседние листы. Ты лежишь в этой папке, прижатый к чужим недорисованным лицам, и в темноте между листами тебе кажется, что это и есть жизнь: теснота, запах старой бумаги, чей-то локоть, отпечатавшийся на твоей щеке зеркальным оттиском.

Я долго этого не замечал. Недорисованные вообще редко замечают, что они недорисованы: изнутри наброска не видно, где кончается штриховка.

Ты живёшь в прорисованной части листа – в кухне с табуретом, в подъезде с облупленной синей краской, в школьном коридоре, пахнущем хлоркой, мокрыми куртками и столовской капустой, – и тебе в голову не приходит подойти к краю и заглянуть, что там.

А там ничего. Там бумага. Не тьма, не бездна, не огненная пропасть со старых гравюр, от которой хотя бы можно отшатнуться с достоинством. Просто чистая, ровная, чуть желтоватая

бумага, на которой ещё ничего не нарисовано и уже никогда не будет. Бездна хотя бы смотрит в ответ.

Бумага не смотрит никуда.

Первый раз я наткнулся на этот край в школе. Прозвенел звонок – тот самый, дребезжащий, с металлическим надрывом, от которого у всех одновременно дёргаются плечи. И все дёрнулись. Тридцать человек одним движением, как стая мальков от брошенного в воду камешка, поднялись, двинулись к двери и заговорили – одинаковыми голосами о разных вещах.

А я опоздал. На долю секунды. Моё тело поднялось позже остальных – не потому, что я задумался, а потому, что в меня, по-видимому, забыли вложить этот рефлекс. И в эту долю секунды, пока я ещё сидел, а класс уже шёл, я увидел его целиком: со стороны и сверху, как видят аквариум. Тридцать фигурок, отыгрывающих одно и то же движение, и себя – тридцать первую, опоздавшую к реплике. Я был тем самым двойником, который отстаёт в зеркале на такт.

Только отражался я не в стекле, а во всём мире сразу.

Потом я, конечно, научился вставать вовремя. Этому учатся все, кто хочет, чтобы их не замечали. Я выучил звонки, интонации и паузы, мимику удивления и мимику сочувствия, выучил, когда смеяться и куда отводить глаза. У меня собрался огромный пёстрый архив чужих движений, и я доставал из него нужное с ловкостью фокусника, который тянет кролика из шляпы без дна. Иногда я сам не знал, что вытащу, пока не видел этого на своём лице в чьих-то глазах.

Но ощущение края осталось. Оно лежало под всем, что я делал, как лежит под линолеумом трещина в бетоне: её не видно, но ступаешь на это место – и пол чуть проседает, и сердце на мгновение проседает вместе с ним.

Я вставал со звонком, как положено вставшим,
И смеялся в тот миг, когда нужно смеяться.
Но под каждым движеньем, заученным, зряшным,
Была белая щель, куда страшно сорваться.

II. КАРАНДАШ В МОЕЙ РУКЕ

Меня спрашивали – нечасто, два или три раза за жизнь, но в моей жизни и это считается часто, – зачем я пишу стихи, если сам же утверждаю, что ничто не имеет смысла. Вопрос честный. Я долго отвечал на него нечестно: что пишу для себя, что не могу не писать, что пишу, чтобы понять. Весь тот набор заученных ответов, который достают из архива, когда к тебе подходят слишком близко. Правда проще и неприятнее.

Я ненавижу рифмы. Рифма – самый наглядный образ Системы, какой я знаю. Слово обязано защёлкнуться на другом слове, как деталь дешёвого конструктора. Строка обязана кончиться там, где ей велено.

И всё вместе должно звучать так, словно мир устроен правильно: будто у каждой боли есть парная боль, совпадающая с ней по звуку, и в этом совпадении есть какой-то порядок, какое-то утешение, какой-то замысел. Это ложь.

Мир не рифмуется. Мир – это капля, падающая в эмаль, и звук, который приходит с опозданием и ни с чем не совпадает.

И всё-таки я пишу в рифму – почти всегда, упрямо, с чередованием женских и мужских окончаний, со счётом ударений на пальцах, как школьник. Потому что рифма – единственный механизм во всей диораме, шестерни которого кручу я сам. Великие Механизмы крутят меня. Система крутит меня.

А рифму кручу я. Это жалкая власть, размером со спичечный коробок, но другой у меня нет, и я держусь за неё с той же упрямой жадностью, с какой утопающий держится за щепку, прекрасно понимая, что щепка его не спасёт.

Есть вторая причина, о которой мне стыдно говорить. Но раз уж я начал с признаний, скажу. Большая часть этой книги – хроника того, как я выжигал из себя всё, что может болеть. Методично, по списку, иногда с наслаждением, в котором признаюсь только здесь: страх, привязанность, жалость, надежду, память о тех, кого люблю.

Я выжег многое. Но я не смог выжечь вот это – карандаш в руке.

Каждый раз, когда мне казалось, что внутри уже ровное остывшее пепелище, я обнаруживал, что пишу. О пепелище. В рифму. И тогда я понял – не сразу, спустя годы, – что каждая строчка здесь является уликой против моего собственного приговора. Пока я пишу, я не закончил. Пока существует эта книга, что-то во мне ещё не сгорело. Можете считать её моей главной неудачей.

Я иногда считаю.

Есть и третье, самое неприятное. Написав мир, ты становишься его маленьким демиургом. Я выстраивал эту книгу так, как выстраивают диораму: расставил по полкам вещи, людей и небо, развесил швы, провёл освещение, отмерил, где будет светло, а где темно. Я знаю, что бывает с демиургами. В третьей главе есть стихотворение о человеке, который однажды попробовал построить мир своими руками, – и я не стану говорить здесь, чем это для него обернулось.

Знаю я и другое: тот, кто долго смотрит на свою коробку сверху, рано или поздно начинает скучать. Я очень старался не заскучать над этой книгой. Если в каких-то местах у меня не получилось – вы это заметите раньше, чем я.

Я рифму ненавижу, как замок,
Где слово слову подставляет плечи.
Но только в ней я сам кручу виток,
А всё иное крутит нас, калечит.
Пока пишу – ещё не догорел:
Строка – улика против приговора.
Я выжег всё, что выжечь я сумел,
И только грифель – жалкая опора.

III. ВЕЩИ

Первая глава этой книги – о вещах, и начинается она с воды. Там ещё нет ни слов, ни имени, ни света. Есть только рыбка, которая плывёт по кругу и думает, что круг – это мир. Мне кажется, так начинается всякий: в тёплой, мутной, бессловесной воде, где стенки аквариума ещё не видны, потому что никто не включил подсветку. Потом подсветку включают. Потом снимают крышу.

Я не могу назвать день, когда это случилось со мной. Это было не событие, а накопление, медленное, как известковый налёт на дне чайника.

Капля из крана падала в эмаль, и звук приходил чуть позже, – раз, и два, и сотый, пока я не начал считать эту задержку, как считают пульс у больного.

Тень от фонарного столба ложилась на обои каждую ночь на одно и то же место, похожая на чёрный языческий крест, и однажды я поймал себя на том, что жду её, как ждут человека.

От запаха свежескошенной травы у всех теплеет в груди, а у меня вдруг похолодело. Я ясно увидел, как это делается: механика лета, леска, ровный подстриженный слой. Ни одной травинке не дали дорасти до той высоты, на которой она стала бы непохожей на соседние.

Тополиный пух казался снегом, пока не полез мне в горло едкой пылью.

Тогда я понял, что это пепел – пепел декораций, которые сгорали где-то за кулисами каждое лето, пока мы умилялись метели в июне.

Воздух перед грозой, которая так и не пришла, пах озоном и пылью так густо, что дышать им было всё равно что глотать батарейки: на языке кисло, в висках покалывает, а ливня нет и не будет.

Поэтому первая глава разложена по временам года – от июня до зимы и снова до мая. Именно так видишь швы впервые: не во вспышке, а в цикле.

Ты проживаешь один и тот же год, и на второй, на пятый, на десятый раз начинаешь замечать, что декорации повторяются с точностью, невозможной в живом мире. Тот же пух в те же числа. Тот же дождь, который однажды просто решил остаться со мной. Тот же конденсат на том же стекле, и твоя ладонь, стирающая его тем же движением, что и год назад.

И в какой-то момент ты перестаёшь чувствовать себя человеком, проживающим жизнь. Ты начинаешь чувствовать себя фигуркой на карусели, которую раз в год заводят ключиком, и она проезжает свой круг, покачивая раскрашенной головой, а потом замирает до следующего завода в той же позе, с той же улыбкой, с той же отбитой краской на локте.

Вещи в этой главе – мои тюремщики. Но я должен быть честен: они же – единственное, что меня держало. Я не раз стоял на кухне с мыслью, которую не стану здесь пересказывать. В книге она пересказана лучше и, как ни стыдно признаться, смешнее. И каждый раз меня останавливало не откровение и не свет, а какая-нибудь нелепица: старый крюк, который не выдержит, сосед снизу, некормленный кот, грязный МАЗ, лень.

Система не спасает людей любовью. Она спасает их бытом. Она говорит «продержись» голосом квитанции и голосом кота, который сидит у пустой миски и смотрит тяжело, неотрывно, как смотрит отвес – туда, куда тянет вес.

И ты идёшь за кормом, и день продолжается. Это не победа, но и не поражение. Это продление, как продлевают договор, который не хочется подписывать и нельзя расторгнуть.

Я долго презирал себя за то, что меня удерживают такие жалкие якоря. Теперь не презираю. Теперь я думаю, что жалкие якоря – единственные настоящие. Высокие держат хуже: их цепь слишком длинна, и пока она натягивается, ты успеваешь утонуть.

Меня держал не божий свет,
А крюк, что не снесёт мой вес,
Сосед внизу, пустой пакет
И кот, глядящий, как отвес.
Высокое держало плохо.
Держало низкое – сполна:
Квитанций пачка, хлебной крохой
Накормленная тишина.

Верхний предел этой главы – «Сбой в декорациях». Там квартира плавится по швам, кресло сползает, обнажая сетку, а за окном нет ни осени, ни июля, только чёрный код, бегущий по металлу, и пиксельный салют, который беззвучно гаснет в конце игры.

Нижний предел – «Осадок». Там я стою по колена в грязи, в которую сам себя закопал, и смотрю, как у меня в горсти издыхает маленькая рыбка по имени Надежда – та самая, что плавала кругами в первом стихотворении.

Я описал это дно подробно и долго, строфа за строфой. На дне я впервые понял то, что потом будет повторяться всю книгу, в каждой главе, на каждом новом уровне: когда боль трётся о пустоту достаточно долго, от этого трения рождается искра.

Не свет. Не надежда – надежда к тому моменту уже лежала мёртвой на жёлтом песке. Что-то упрямее и некрасивее: отказ исчезнуть. Тупой, почти животный протест материи, которую раздавили, а она всё ещё занимает место. Я тогда не знал, что с этой искрой делать. Я написал, что она догорит за меня. Я до сих пор не уверен, что ошибся.

А заканчивается глава одуванчиком. Это единственная проза первой главы, которую я написал по своей воле, и я прошу вас прочесть её медленно.

Другая – объявление с двери подъезда – появилась в книге сама, как появляются такие объявления: за ночь, на скотче, без подписи. В ней весь путь этой книги уже пройден – только не человеком, а цветком в трещине асфальта. Рождение без согласия. Корень, который пьёт распад прошлогодней травы, как молоко. Короткий жёлтый полдень, в который пчёлы садятся на тебя, как пилигримы на алтарь, и ты веришь, что нужен. Газонокосилка, которая не выбирает.

Седой шар, разлетающийся на ветру сотней одиноких парашютов. И корень, который не умеет сдаться.

Когда я дописал эту хронику, мне стало по-настоящему страшно. Я понял, что дальше мне предстоит пройти то же самое, только медленнее и на себе.

IV. ЛИЦА

Второй раз края я коснулся уже не в вещах, а в людях. Это было большее. Вещи не притворяются живыми, и в этом их честность: табурет не говорит тебе «я тебя понимаю», кран не обещает, что всё будет хорошо. Люди притворяются. И хуже всего – я притворялся вместе с ними, лучше многих, потому что учился этому с того самого звонка.

Вторая глава открывается одуванчиком – седым, выдохшимся, на который стоит дунуть, и он разлетится. Это любовь, которая умерла, но которую ещё прячут в чемоданчике, как прячут засохший цветок между страниц, боясь выбросить и боясь посмотреть. Дальше начинается рынок.

Я называю его рынком не из презрения – я сам за этим прилавком стоял, – а потому что точнее слова не нашёл. Здесь меняют страх одиночества на совместную ипотеку тишины. Здесь «я люблю» говорят как пароль к убежищу, за стенами которого удобно прятать собственную трусость, неумение быть одному, животный ужас перед безмолвной комнатой, где некому сказать «ты дома». Здесь двое калек возводят в пустом склепе алтарь, служат на нём литургию собственному распаду и причащаются из незаживших ран – и это, как ни странно, самый честный союз на всём рынке, потому что оба знают, что делают.

Я не выше этого рынка. Я перечисляю его товары не как судья, а как торговец, который однажды вдруг прочитал этикетку на собственном товаре.

Этикетка была короткой. Моё лицо собрано из украденных реакций, и под ним ничего нет.

Это случилось не сразу. Маска держалась годами. Я подклеивал её, подкрашивал, наводил лоск, как наводят лоск на старую мебель перед продажей квартиры. А потом шаблон перестал срабатывать, как перестает срабатывать старый выключатель: щёлкаешь, а свет не загорается. Маска не упала. Она лопнула – изнутри, как лопается стекло от резкого перепада температур. Осколки не посыпались на пол, как положено осколкам. Они вошли обратно, в лицо, в самую мякоть, туда, где под картоном ожидалось найти спрятанную суть. Сути не нашлось. Нашлась глухая, мёртвая, утрамбованная земля. Я стою на этой земле до сих пор.

Моё лицо – эти осколки, вросшие в неё, эти швы и сколы чужих интонаций. Другого у меня нет, и я перестал его искать.

Я клеил лик из выученных жестов,
Из «ах» чужих, улыбок напрокат.
Он лопнул внутрь. Под ним искал я место,
Где спрятан клад, – а там земля. Не клад.

Есть в этой главе и проклятие, которое люди по недоразумению считают даром. Я читаю людей. Не мысли, конечно, – я не фокусник и не пророк, – а то, что они носят в глазах, не зная, что носят. Глаза для меня не зеркала души. Это открытые раны, из которых сочится то, что человек никогда не скажет вслух.

В одних я читаю заброшенный дом с выбитыми окнами. В других – пустые причалы под тяжестью ржавых цепей. В третьих – обветшалые залы, где бродят фантомы давно умерших обид. Я забираю это под кожу, не спрашивая разрешения, и оно там прорастает, и мы становимся жутко похожи – я и все те, кого я прочитал.

Но страшнее всего были не тёмные глаза. Страшнее всего были тёплые. Изредка попадаются глаза, в которых тлеет что-то живое, неискалеченное, – и они пугали меня сильнее любой бездны. Бездна хотя бы честно говорит, что она бездна. А тепло в этом мире – всегда вопрос: откуда? зачем? надолго ли? и что с ним сделают, когда заметят?

И вот здесь, в самой середине рынка, случилось то, что я не могу объяснить ни одной из своих теорий. Появилась она.

Я не буду описывать её в этом предисловии. Я описал её, как сумел, в шести стихотворениях подряд, и этого мало. Скажу только, что для существа, которое к тому времени уже приучило себя к холоду, как приучают себя к ледяной воде, это было не облегчение, а болезненное воскрешение. Так болят отмороженные пальцы, когда их отогревают: жизнь возвращается в них не радостью, а огнём. Упрямая искра в глазах. Шаг, в котором есть что-то от пантеры, ступающей по лучам рассвета. Случайная улыбка – и весь мой аккуратно выстроенный бетон вдруг оказался обычной декорацией, которую можно отодвинуть рукой.

Одно из этих шести стихотворений я написал ей однажды утром, спросонья, не думая о книге. Оно стоит здесь почти таким, каким было, – я лишь пригладил строчки, как разглаживают наутро смятую постель, – с нежными прозвищами и с моим признанием, что я ненавижу рифмы, но ей одной дарю стихотворение. Я долго думал, имею ли право поставить его рядом с плесенью, вивисекцией и чёрным кодом. Решил, что обязан. Без него вся остальная тьма этой книги была бы враньём – тьмой человека, которому никогда и некому было сказать «доброе утро».

Я не обещаю вам, что эта любовь спасёт героя. Я вообще ничего не обещаю. Но предупреждаю: она пройдёт через всю книгу. Её будут резать, хоронить заранее и пропускать через горнило. И каждый раз, когда вы решите, что её уже нет, – проверьте ещё раз.

А после – ты. Упрямая искра
В глазах, которых я не заслужил.
И лёд, в котором прятался вчера,
Закапал. И оттаяло. Я жил.

Сразу за этими стихами стоит другое, и поставил я его туда нарочно.

Оно о том, что всё моё творчество, может быть, – лишь попытка поймать эхо собственного голоса в пустой комнате и убедить себя, что я ещё кому-то нужен. В нём же я впервые говорю вслух, что дважды шагал за край. Подробнее рассказывать не буду. Скажу только, что

мир оба раза вытолкнул меня обратно – без объяснений и без всякого смысла, как волна выталкивает на берег пустую бутылку, в которой никто так и не прислал письма. После этого стихи и стали тем, чем стали: моими письмами в ту бутылку.

А ближе к концу второй главы я назвал себя Совершенным Уродом.

Я произнёс это, стоя перед другом, с высоты человека, который наконец всё понял. Я сказал ему, что я такой же, как все, из того же раствора замешан, только в отличие от остальных – вижу. Сказал, что эгоизм – норма, если он осознан. Сказал, что его петля к тридцати окажется трижды прочней, если он не научится жить, а не казаться. И закончил словами «продолжим потом».

Прошу вас запомнить эту фразу. Я поторопился. Титул, который берёшь себе сам, всегда приходится оплачивать позже – и по курсу, который назначаешь не ты.

А закрывается вторая глава пьесой. Пустой театр после маскарада, лампа с зелёным абажуром вместо софитов, сумка масок, которые наконец заговорили моим голосом. Я думал, что играю один. Оказалось, нет: на сцену вышел тот, кто всё это пишет. Лица его я так и не разглядел – только подбородок, руки и край рукава, серый от графита. Он предложил мне одну вещь, которую я не стану пересказывать: она касается последней главы, и я отказался. Уходя, он положил на сцену карандаш и спросил: «Продолжим потом?» Я ответил: «Продолжим». И поднял карандаш.

V. НЕБО

Когда вещи и лица были прочитаны до последней строки, взгляд поднялся выше. Не потому, что я искал Бога, – скорее потому, что больше некуда было смотреть. Если всё внизу – бутафория, остаётся проверить, из чего сделан потолок.

Третья глава начинается на крыше. Буквально: на пыльном рубероиде глухой высоты, среди растяжек антенн и окурков тех, кто поднимался сюда до меня. Там лежат разбитые часы, стрелки которых застыли в бессмысленной чечётке. Солнце садится, и одновременно, с другой стороны неба, уже светлеет. Эту границу – между закатом и рассветом, между двумя иллюзиями – я называл про себя Разломом, а себя его принцем. Смешной титул. Я носил его с тем серьёзным достоинством, с каким ребёнок носит бумажную корону. Но с этой крыши впервые было видно, что у диорамы нет крыши. Что над нами не небо, а проём. И что облака, которые плывут в нём белыми судами, через час становятся свинцом, через два – траурной ратью, к ночи – саваном, а утром снова крылом. Они качаются, как маятник, который никогда не возвращается назад.

Я смотрел на это качание и узнавал в нём себя.

Потом я задал вопрос. Я не горжусь тем, как я его задавал. В книге это записано честно: сначала на коленях, с мокрым лицом, как спрашивают дети. Зачем ты вложил в нас сердца, если здесь им нечем питаться, кроме боли?

Зачем ребёнку корчиться? Зачем эта тяга к совершенству в мире, собранном из брака? Потом – в ярости, с разбитыми о глухие своды ногтями, с проклятиями, которые я тогда считал бунтом, а сейчас считаю ещё одной формой мольбы. Потом снова на коленях, потому что ярость тоже выдыхается, а ответа всё нет.

Ответ пришёл не сверху. Он пришёл из учебника биологии, из статистики, из собственной кардиограммы. Воля оказалась фантомом. Любовь – цепью совпадений, химическим откликом и гормонами. Личность – выкройкой, сшитой задолго до меня теми, кто давно умер. Убеждения – дешёвыми бусами, сплетёнными теми, кто давно умер, а всё прочее во мне – пеплом, который надуло в окно. Я разобрал этот механизм по деталям – от первой линии, с которой начался рисунок, до булавки в точке схода, от которой проведены все пути: Время, которое берёт займы, Тяготение, которое не отпускает, Портного, который кроит по прадеду,

и Рок, который только щёлкает. Я написал целую инструкцию по сборке человека. Её голос холоден, как голос того, кто собирает изделие на конвейере: вскройте коробку, вбейте в суставы спирали, вшейте в грудину фантомные боли и каплю надежды, зеркало ему только не дарите. Мне было страшно её писать. Мне кажется, я просто подслушал.

Я спрашивал. Сначала – на коленях,
Потом – рыча, с разбитым в кровь лицом.
А небо в карандашных светотенях
Молчало. Не со злом. Не с торжеством.
Оно не слышало. Оно скучало,
Как тот, кто поднял крышку – и забыл.
И в этой скуке было больше жала,
Чем в тысяче карающих светил.

Вот главное открытие третьей главы, и оно страшнее любого бога-тирана. Тот, кто смотрит сверху, не злится на нас. Он скучает. Злость – это хотя бы внимание, это хотя бы значит, что ты кому-то важен настолько, чтобы тебя ненавидеть. Скука не оставляет и этого.

Дальше в главе идут попытки выхода, и я не скрываю, что их было много.

Я пробовал раствориться, как растворяется всё в воде, которая не знает формы и границ.

Я пробовал разорвать цепь бесконечных возвращений, в которой души кружат по жизням, как колёса.

Я пробовал отмотать жизнь назад, как плёнку, до того места, где меня ещё нет, и пробовал проспять её – лечь между «уже» и «ещё» и не вставать.

Я пробовал упасть вверх, как ворон, режущий крыльями выжженный купол в поисках той высоты, где кончается человеческий страх.

И я пробовал построить свой мир. В этом признаюсь особо, потому что это было самое прекрасное и самое опасное из всего, что я делал. Лечь во тьму, в материнское лоно тишины, и ждать, пока глаза привыкнут. Научиться разрывать экран, как прорывают старую киноплёнку, за которой не стена, а кубическая белизна, чистая, как снег. Нарисовать окно, потом ручку на раме, потом свет, которого за этим окном никогда не было. Потом реку, сад, горы и погоду, которая слушается малейшего изгиба души: разозлишься – и о скалы бьют седые шторма; улыбнёшься – и солнце искрится в озёрной тиши.

Это сводит с ума – осязать то, чего ещё нет, и чувствовать, как оно становится под пальцами плотнее того, что есть. В такой мир хочется позвать кого-то, чтобы не быть в нём одному, и я знаю, как это делается. Я не расскажу вам, чем это кончилось. В книге это стихотворение называется «Последний демиург», и оно должно дойти до своего конца без моей подсказки. Скажу только, что всякий, кто строит миры своими руками, рано или поздно узнаёт, из чего сделан он сам. Я узнал.

Когда все двери оказались нарисованными, осталось одно – смех.

Не весёлый. Тот, которым смеются на краю, когда понимают, что смысл изначально смешон, и потому единственный вызов, доступный песчинке, – продолжать петь назло. Этому смеху я учился долго, и третья глава – его букварь. А ближе к концу главы стоят два стихотворения, которые я нарочно поставил рядом. Это два голоса, говорящие через пропасть. Один из них не мой.

Я долго не решался его записать: мне казалось, что у того, кто смотрит сверху, не должно быть права на собственное стихотворение в моей книге. Потом решил, что должно. Если уж я задал ему столько вопросов, честно дать ему хотя бы раз заговорить – пусть не в ответ мне, а о своём: о том, что происходит с тем, кому наскучила вечность.

Второй голос человеческий, и именно он дал имя всей книге. В нём я ещё раз прошёл её всю – от чашки с отбитой ручкой до кота в ногах – и только в последней строке назвал её по имени. Он звучит после первого не как возражение и не как утешение, а как дыхание, которое продолжается, когда его уже никто не разрешал.

А самым последним, уже на полях главы, я оставил сказку. Её рассказывает не мой голос, а тот, что звучит над колыбелью, – с присказками, заставами и «долго ли, коротко ли». Она про Дурака, которого нарисовали наспех, на полях, пока думали о другом: кружок, палочки, колпак без бубенчика. Штриховки на нём не было ни одной, а значит, и бояться ему было нечем.

Он прошёл все заставы диорамы – Время, Рок, Тяготение, Случай, Портного – и ни одной не победил, а просто не дался. Он нашёл, где у Системы смерть, и вытащил её, как булавку. Это единственное место в книге, где Механизмы проигрывают. Правда, только до утра. У этого Дурака был тёзка в моей первой книге, и они очень разные: тот брал у всех, а этот ничего не взял. И сказка, как ей и положено, кончается ночью.

Что станет делать тот, кто продолжает дышать, если сверху больше некого спрашивать, – об этом следующая глава.

VI. ГОРНИЛО

Ответ был простым и страшным: если наверху никого нет, строить придётся самому. Если мир нельзя починить, а людей вылечить, остаётся одно – перестроить себя так, чтобы миру нечего было ломать. Перестать быть тем, по кому бьют, и стать тем, кто бьёт первым, – по самому себе, по собственной уязвимости, пока до неё не добрались другие.

Я называл это внутренней алхимией, и в этом названии больше поэзии, чем она заслуживает. На деле это была работа. Долгая, методичная, ночная.

Я бросал в горнило страх и смотрел, как он плавится. Я растирал в пыль слабость. Время было мне углём, годы – золой. Я пил чужую ложь, как едкий экстракт, и заключал с вечностью безмолвный контракт, по которому отдавал ей всё мягкое в обмен на твёрдое.

И я делал то, в чём мне стыднее всего признаться. Я хоронил вас. Заранее. Всех, кого люблю. В уме, по ночам, подробно, с выбором гранита и цвета венков. Я проживал вашу смерть сотни раз, чтобы, когда она придёт по-настоящему, сердце встретило её камнем и не издало ни звука. Это работало. Вот что самое страшное: это работало. И я делал это с тем холодным, тщательным азартом, с каким гравёр выводит буквы на плите, любуясь ровностью засечек. Я прошу прощения у каждого, кого похоронил живым. Вы не знали. Вы наливали мне чай и спрашивали, как дела, а я в это время мысленно выбирал для вас шрифт.

Я хоронил вас загодя, в уме,
Я выбирал гранит и цвет венков,
Чтоб смерть, придя однажды в тишине,
Застала сердце камнем – и без слов.

Потом очередь дошла и до меня самого. Сердце оказалось не насосом, а кузней: оно стучало с самой колыбели и с каждым ударом отбивало от меня всё, что было мягче железа. Остановить его было нельзя: недокованное идёт в брак. Тогда я взялся за слово. Вышел ночью на пустырь за гаражами и, как знахарь наоборот, разослал свои чувства по мёртвым адресам: тоску – в сухую осину, нежность – на стоячую воду, надежду – на дно ямы. Ушли все, кроме одной: её, как оказалось, некуда послать. А потом я высек надгробия и себе – по частям: голосу, смелости, вере, сну, собственному имени. Последний камень я приготовил коту. Он его не прочёл.

Есть ещё одна причина, о которой я долго молчал даже перед собой.

Я начал выжигать любовь не только из страха её потерять. Я начал выжигать её потому, что увидел, что делает с ней моя тьма. Живой, искренний росток рядом со мной вянул. Она просила крыльев, а я давал оковы. Она искала дом, а я мог предложить только склеп. Она пыталась выжать солнце из камней, и я смотрел, как она для меня гасит собственный свет. Тогда я решил: если я не могу вывести нас к свету, я должен вырезать себя из её жизни. Или вырезать её из себя, что казалось проще. Это самая опасная ложь во всей книге: убивать в себе чувство ради того, кого любишь. Она звучит как жертва, а на деле это хирургия без наркоза, в которой оба лежат на столе.

Любовь, пропущенная через горнило, не исчезает. Она мутирует.

В четвёртой главе есть стихи, которые трудно читать, и я не стану просить у вас за них прощения. Тела срастаются в одну липкую сеть. Лица стекают в амальгаму. Из глазниц прорастают соцветия, и сад кровоточит. Так выглядит нежность, которую пытались убить и не добились: она не уходит, она врастает внутрь, в хрящи, в позвоночник, и болит там уже не как чувство, а как орган.

Результаты алхимии описаны в этой главе с медицинской подробностью, потому что иначе вы бы мне не поверили. Сначала пропал вкус: во рту проросла плесень, и любая еда, любой поцелуй стали отдавать сырым подвалом и могильной золой. Потом пропал цвет: пространство стало плоским и картонным, в голове воцарилась тишина, висящая над миром бетонным куполом. Я смотрел на людей, как на мазок на выцветшей картине, и не чувствовал ни отвращения, ни тоски – ничего. А потом сознание раскололось надвое. Одна половина пела про клубничный сироп, про пушистого кота и ромашковые венки, а другая в ту же секунду, в соседней строке, разбирала себя на куски. Обе пели одновременно. Обе были мной.

И когда давление становилось больше, чем выдерживала вся эта ледяная философия, срывало клапан. Тогда высокий слог обрушивался в мат.

Одно короткое слово, повторённое как заклинание наоборот, – и вся архитектура выжженного космоса отправлялась туда, куда ей и дорога. Я оставил эти срывы в книге нетронутыми. Без них она была бы красивее и лживее. Мат здесь не грубость, а звук, с которым лопается слишком туго натянутая струна.

После этого крика наступила тишина, и в ней я заметил, что всё вокруг стало мне велико: кольцо, ботинки, пальто, стул. Впору остался только титул.

Я попробовал вырезать лишнее из собственного манифеста, вычеркнул почти всё – и из уцелевших слов само сложилось то, что я отрезал. А железный сонет о том, что я кончился, дописал кот: лёг на тетрадь, стёр лапой последнюю строку и ткнулся мне в висок – туда, куда я когда-то мысленно приставлял пистолет.

А потом я упёрся в стену. В книге она называется Музеем Несуществующего. Я обнаружил, что память – не комната, которую можно проветрить, а склад без окон. Огромный, многоэтажный, с тусклыми лампами под потолком, где на крюках висят куски заброшенных времён, а на полках стоят банки, в которых закатаны чьи-то обиды, чья-то теплота, чей-то голос, сказавший однажды одно-единственное слово. Там есть стенд погасших глаз и стенд разбитых клятв. Там пахнет пылью и формалином.

Я ходил по его этажам как смотритель и как узник одновременно и впервые по-настоящему понял, что алхимия не всесильна: огонь, который плавит страх, не берёт этот склад. Что я сделал, когда это понял, – в стихотворении. Оно одно из самых длинных в книге, и в нём есть место, где я перестаю быть стоиком. Прошу вас дочитать его до конца, даже если в середине захочется перевернуть страницу. Там, на самом дне, лежит то, ради чего я его писал.

Но недожжённое не умирает:
Оно уходит вглубь, как корень, в тьму,
И там, во тьме, упрямо прорастает –

Не к свету даже. Просто потому.

А ближе к концу главы стоят два стихотворения, которые я ставлю ей в противовес. В одном ночью на окне вырастает морозный лес, которого никто не рисовал и который нечем опровергнуть, потому что он ничего не доказывает. В другом я наконец заглядываю на дно реторты, где лежит бурый шлак, который алхимики выбрасывали не глядя, и узнаю, что из него веками делали краску для теней. Без тени рисунок плоский.

Конец четвёртой главы – не триумф. Там звучат голоса, которые спорят с горнилом. Один из них мой же – из другого дня, из того дня, когда я ещё не был уверен, что чувства – это брак, подлежащий удалению. Я не заглушил его и не дал ему последнего слова: пусть спорит. Там же любовь снова стучит в дверь, которую я считал заколоченной. Я не скажу, открыл ли я. Там стоит письмо тем, кого я хоронил заранее: почти прощальное, почти признание в любви, и я до сих пор не знаю, чего в нём больше.

И там стоит стихотворение, которое называется «Счастье». Я писал его как человек, который долго шёл по лестницам вопросов без перил, чтобы в конце спросить у мира самое простое. Что он услышал в ответ – прочтёте сами.

Да, здесь я наконец оплатил титул, объявленный в конце второй главы. Совершенный Урод. Существо, переросшее потребность в жалости. Я оплатил его полностью. И обнаружил, что победа, за которую заплачено так, на ощупь неотличима от ампутации: там, где было больно, теперь не болит, но и руки там больше нет.

Закрывается глава притчей в прозе – «Архитектурой Пустоты». Это притча о Носителе. У него нет имени: имена в том городе давно превратились в пустые звуковые оболочки. В груди у него вместо сердца хрупкая стеклянная сфера, внутри которой мечется последняя искра, и весит она больше, чем целые галактики. Он идёт через город, где время свернулось в смолистые капли, где из трещин в асфальте тянутся бледные руки тех, кто сдался, а тени, отслаивающиеся от стен, шепчут ему одно-единственное слово: «Зачем?». Впереди башня, ступени которой сложены из застывших человеческих криков.

Больше я ничего не скажу. Я написал эту притчу как сказку о себе, каким хотел бы быть, – идеальным алхимиком, способным дойти до конца пути. Прочтите её медленно, ступень за ступенью. А потом переверните страницу и посмотрите, что бывает, когда сказка заканчивается и наступает ночь.

VII. НОЧЬ

Потому что ночь наступает всегда.

Пятая глава – о том, что броня, отлитая в горниле, не выдерживает темноты. Днём она работает безупречно. Я шучу, решаю чужие проблемы, смеюсь над пустыми вещами. Я такой энергичный, что люди просят у меня совета и благодарят. Мотор ревёт на износ. Я натягиваю нервы, как старые, грязные нити, и держусь на зубах. А потом закрываю за собой тяжёлую дверь, и батарея садится на ноль. С лица осыпается бравада, как штукатурка с потолка в старом доме, и я ложусь на кровать, как убитый зверь. Утром телефон подмигнёт: «Давай, просыпайся, дружище!». И всё начнётся заново.

Я назвал это ночным дефектом. Сначала я думал, что это сбой, который можно исправить. Потом понял, что это единственное место во всей конструкции, где правда пробивается сквозь сталь. Днём монолит непроницаем для мира. Ночью оказывается, что он непроницаем для мира – но не для собственной плоти. Сквозь сварные швы брони сочится то, что не выжглось до конца.

От Заката до Рассвета

Я – не сталь, не монолит.
Я – ребёнок без ответа,
У которого болит.
Утром – снова сталь и смех,
Кофе, шутки, ровный шаг.
Только ночью – громче всех –
Плачет тот, кто «просто так».

У ночного дефекта два лица, и оба есть в этой главе.

Первое – тёмное. Мысль о конце звучит фоновой нотой, ровной и постоянной. Неделя замыкается в петлю: понедельник, кофе, который оказывается отваром из несбыточных лет, выходной с алкоголем и оскалом вместо смеха, снова понедельник. Сердце сбивается с ритма, то замирает, то стучит в висках молотом. Приходит боль без причины, без раны, без рубца – боль от того, что просто, беспечно дышишь. Самая тяжёлая из всех, потому что её не за что ненавидеть и нечем лечить.

Есть ночь, разбитая на часы, как в старом часослове, – только на каждую молитву отвечает не Бог, а квартира: гудит холодильник, капает кран, кашляет кто-то за стеной. Пока не перестаёт. Есть комната, которая к утру светлеет, и не от зари: с её стен по одной сходят вещи, и я остаюсь посередине белого, как пятно. Есть голос, который уходит в это белое и не возвращается, пока из-за листа не отвечает чужой, такой же стёртый. И есть ночь, когда я лежу одетым и слушаю скорые, и каждая проезжает мимо: опять не к нам.

Здесь же – утрата. Я не буду называть её по имени и не буду рассказывать, как она случилась. В стихах сказано всё, что я смог сказать, и сказано так, как это было, – без подготовки и без смягчения, потому что так она и пришла. Скажу только, что после неё в книге есть дом, где свет больше не зажигается, и есть стихотворение, в котором слов почти нет.

Оно выстроено на странице как маятник: строки то удлиняются, то сжимаются до одного слова, и глазом видно, как качается груз. Я оставил его таким не ради формы. Когда нет сил на фразу, остаётся ритм. Когда нет сил на ритм, остаётся одно слово на строку, и его приходится выталкивать из себя, как выталкивают последний воздух из лёгких под водой.

И здесь я стою на грани. Долго. Так долго, что грань становится треном, работой и последним путём одновременно. Я пишу об этом без прикрас, потому что прикрасы здесь были бы предательством по отношению к тем, кто стоит на ней прямо сейчас.

Но у дефекта есть второе лицо, и о нём я должен сказать отдельно, потому что его легко принять за ошибку книги. Сквозь сталь прорывается не только тьма. Прорывается свет.

Здесь впервые появляется Наблюдатель. Не тот, которого я придумывал в горниле, – холодный, бесстрастный, над миром. А другой: одинокий, смотрящий на чужое счастье сквозь стекло, как путник смотрит в тёмном море на огонь на берегу, до которого не дотянется ладонь. Он не хочет ни смысла, ни истины. Он хочет только объятий. Без слов, без утешений – просто тепла, чтобы тьма отошла от сердца.

Здесь звучит голос, который я, честно говоря, не знаю, кому отдать: мне ли, говорящему самому себе, или кому-то, кто сидел рядом со мной на полу. Он говорит: «Привет. Болит? Я знаю эту боль... Вставай». И ещё один – который напоминает, что абсолютной тьмы в природе нет, что у каждой ночи есть полутень. Я не согласен с ними до конца. Но я их не вычеркнул.

Между двумя лицами ночного дефекта есть ещё несколько ночей, о которых нужно сказать. Однажды я бросил в водосток бутылку с запиской – без обращений и признаний, только с координатами: пятый этаж, окно напротив фонаря, четвёртый час ночи. Всё сходилось, кроме одного: всё это было нигде. Однажды я пел себе колыбельную, ту самую, про край и серенького волчка, и под конец перестал понимать, кто кого убаюкивает. А наутро написал восемь строк, первые буквы которых складываются в три слова, и девятую – одну букву, которую не

произносят. Эти три слова – название стихотворения. Я не буду их здесь повторять: пусть их прочтёт тот, кто дойдёт.

А в самом конце главы происходит то, чего я сам от себя не ждал.

Туман, в котором я растворялся, в котором прохожие теряли вес и суть и весь мир бесмысленно белел, как молоко, пролитое на карту, начинает редеть. Сквозь него проступает луч на шторе. Потом утро, спускающееся с гор. Потом роса, горящая на травинках хрусталём, и малая птица на тонком суку, которая поёт так, будто ей никто никогда не объяснял, что мир – бутафория. И она – входящая в этот свет, лёгкая, как первый вдох после долгого пребывания под водой.

Я не знаю, как объяснить вам эти стихи, не извиняясь за них.

После плесени, вивисекции и петли – роса, птицы, утро. Кто-то решит, что это слабость книги, кто-то – что её обман. Прочтите их не как ответ и не как исцеление, а как то, что просочилось сквозь сталь ночью, когда Систему коротит. Это такой же дефект, как слёзы, только другого цвета.

И не спешите с выводами на последних страницах главы. Там я принимаю решение – вслух, так, что его нельзя будет забрать обратно. А потом, почти сразу, принимаю другое. Я не скажу, какое из них последнее. Скажу только, что они случились со мной в одну неделю и ни одно не отменило другое. Это и есть ночной дефект: маятник, который не останавливается в середине. Если, дочитав главу, вы почувствуете, что вас качнуло в обе стороны сразу, – значит, вы прочли её правильно.

А последняя проза пятой главы оглядывается дальше, чем начинается эта книга, – туда, где всё когда-то уже случилось, от Заката до Рассвета.

Это семь писем, по одному на каждую ночь той самой недели. Я писал их себе – тому, кто когда-то стоял на крыше девятиэтажки в снегу и ещё не знал, отступит ли от края. Я рассказывал ему, куда делись его Ветер, Тень и Вороны, кем стал его Князь Излома и чем кончилась фраза, которую он оставил недописанной в блокноте. Ответов не было. Но к воскресенью я понял, куда уходят такие письма, и это единственное место в книге, где время наконец сработало на нас, а не против.

VIII. КООРДИНАТЫ, КОТОРЫХ НЕТ

После пятой главы книга не кончается. Она выходит.

Сначала выходит официально: Управляющая компания составляет акт о выходе изделия из эксплуатации, тем же сухим голосом, каким был написан паспорт в начале. Всё сдано по описи, все сто пятьдесят единиц, утраты списаны по эпитафиям, посторонние предметы перечислены. В последнем пункте сказано, что выход не предусмотрен. Поверх печатного текста кто-то приписал графитом одно слово. Какое – вы прочтёте сами.

Потом выхожу я. Через дверь, которой в этом доме никогда не было: я нарисовал её сам, кривую, с трижды обведённой ручкой, потому что с ручками у меня в жизни не ладилось. За ней оказался не другой рисунок, а край листа, стол, лампа с зелёным абажуром и тот, кто всё это время держал карандаш.

Я наконец увидел Его лицо. Не скажу, на кого Он похож. Скажу только, что рядом с Ним, на старых пожелтевших листах, говорил заглавными буквами ещё один голос – тот, что когда-то хлопал в ладоши в моей первой книге. Я сидел между двумя своими богами, и ни один из них не был похож на бога.

Это последняя проза книги, и она длиннее всех остальных, потому что в ней сходятся всё. Он стирает мой мир у меня на глазах, в обратном порядке, от ночи к вещам, а Механизмы уходят каждый по-своему. Он разрешает мне встретить того, кем я был до этой книги, – на крыше, в снегу, с мокрой запиской в кармане. И тех, кто был с ним тогда: Ветер, Тень, две

Вороны, Хаос, Князя Излома. Они приходят попрощаться и уходят, становясь обычными. Там же, у стола, стоит ещё один стул, третий, и он не пустой. Это ваш. Вы сидели на нём с той минуты, как подняли крышку.

После заключения, вне описи, за пределами ста пятидесяти единиц, стоят семь стихотворений, которых нет в комплектации. Их нельзя ни принять, ни вернуть. В первом – боги, которые забыли себя: прежние авторы прежних миров, однажды вставшие из-за этого стола и ушедшие. Тот, кто держит карандаш, будит их и перештриховывает заново. Во втором и третьем – как эта книга родилась из той, сначала изнутри, потом снаружи: из трёх слов в забытом блокноте и из листа, который не поднялась рука выбросить. Четвёртое написал кот. Он знает о книге больше всех и не скрывает этого. Пятое адресовано вам. Шестое вообще не из этой книги. Я написал его не герою и не читателю, а одной живой – без адреса и без имени – и оставил здесь, потому что больше ему негде было стоять. Седьмое – попытка ответить на вопрос, который я задал в четвёртой главе и бросил нерешённым: что такое счастье. Ответа не вышло. Вышли наброски.

А потом – эпилог, поэма «Координаты Нигде». Это дорога по белому, по пустыне, где вместо песка пелена и время не течёт, к зеркалу на самом краю. Зеркало показывает три выхода. В одном я делаю шаг вперёд. В другом – назад, к порогу. А третье пустое, и я долго не мог понять, что это значит. Не стану говорить, какое из отражений правда. Все три.

Первая книга была прошлым – дорогой от Заката до Рассвета.

Эта – настоящее, иллюзия, у которой есть имя. Будущее называется

«Наброски счастья». Я пока не знаю, кто в нём живёт: их имена написаны на полях и прикрыты ладонью. Знаю только, с чего оно начнётся – с одной линии, тонкой, как дыхание.

Последняя строка эпилога – последняя строка книги. После неё страница пуста. Но это не тишина: это нетронутое. Пустое – то, что стёрли. Нетронутое – то, чего ещё не нарисовали. Я наконец научился их различать.

Огрызок карандаша лежит на третьем стуле. Им ещё можно писать.

IX. КАК УСТРОЕНА ЭТА КОРОБКА

Я не буду объяснять вам, как читать эту книгу. Скажу только, из чего я её собирал, – так мастер, отдавая шкатулку, показывает, где у неё потайное дно, и отходит в сторону.

Между стихотворениями нет пустых страниц. Там стоят короткие стихи-эпиграфы, и я шил ими, как шьют суровой ниткой старое пальто: игла выходит из одного стихотворения, прокалывает бумагу и уходит в следующее. Образ, брошенный на одной странице, подхвачен на другой и повернут к вам изнанкой. Проведёте по нему пальцем – почувствуете нить, как чувствуют шов на подкладке. Откроете книгу наугад – шов подскажет, откуда вы пришли.

Рисунки здесь карандашные. Не потому, что я люблю графику, а потому, что этот мир и есть графика. В каждом рисунке есть место, где штриховка обрывается и остаётся голая бумага: следы ластика, вспомогательные линии, недорисованный край. Ближе к концу таких мест становится больше. Почему – говорить не стану.

В конце каждой главы стих кончается и начинается проза. Там, где строфе становится тесно, мне нужно было место побольше, чтобы увидеть путь целиком и со стороны. Поэтому каждая проза смотрит на него чужими глазами: первая – глазами цветка в трещине асфальта, вторая – глазами пустой сцены, где я впервые встретил того, кто меня пишет, третья – глазами сказки, четвёртая – глазами притчи, а пятая смотрит назад, туда, где я был до этой книги: это письма самому себе. Ещё две прозы стоят не в конце главы. Одна вообще ничьими глазами не смотрит – это объявление с двери подъезда, его я нашёл, а не написал. Другая смотрит моими – в самом конце, когда я наконец выхожу из коробки.

Некоторые стихи здесь похожи друг на друга, как близнецы, и смотрят друг на друга через несколько страниц, как отражение, опоздавшее на такт.

Один говорит «выжги», другой – «не отключай». Один утешает чужим голосом, другой выбирает своим. Я так и не смог их примирить и не стал делать вид, что смог.

Рядом с нежностью здесь стоит мат, рядом с росой на травинке – вивисекция, рядом с ледяной геометрией – кот, которого надо покормить.

Не перелистывайте то, что покажется вам слишком грубым или слишком светлым: в этих перепадах и видны швы. Я не сглаживал их, потому что тогда соврал бы о том, как всё было.

Если вы не читали моей первой книги, ничего страшного: эта стоит на своих ногах. Те, кто пришёл оттуда сюда, – Ветер, Тень, две Вороны, Хаос, Князь Излома, тот, кто говорит заглавными буквами, – представлены в письмах в конце пятой главы так, чтобы их узнал и тот, кто видит их впервые. А если однажды захочется узнать, откуда они взялись, – дорога от Заката до Рассвета никуда не делась. Её можно пройти и потом. Время у этих книг всё равно идёт не по порядку.

И последнее. Эта книга писалась годами, между её главами прошли зимы. Не глотайте её залпом – дайте ей хотя бы несколько вечеров.



Когда вы откроете первую страницу, вы окажетесь там же, где был тот, кто однажды снял с этого домика крышу: сверху.

Вы будете смотреть на фигурку, которая ходит по кухне, едет в маршрутке, стоит на крыше высотки, лежит на полу в пустой квартире.

Смотрите. Только не так, как смотрел он.

Входи, мой друг. Здесь нет дверей.
Здесь только ветер и руины.
Оставь надежду у сени
И стань свидетелем картины.
Когда осыплются кулисы без прощания
И чёрный код сотрёт остатки бледных дней,
Ты обретёшь своё последнее призвание:
Стать Наблюдателем – иль тенью средь теней.

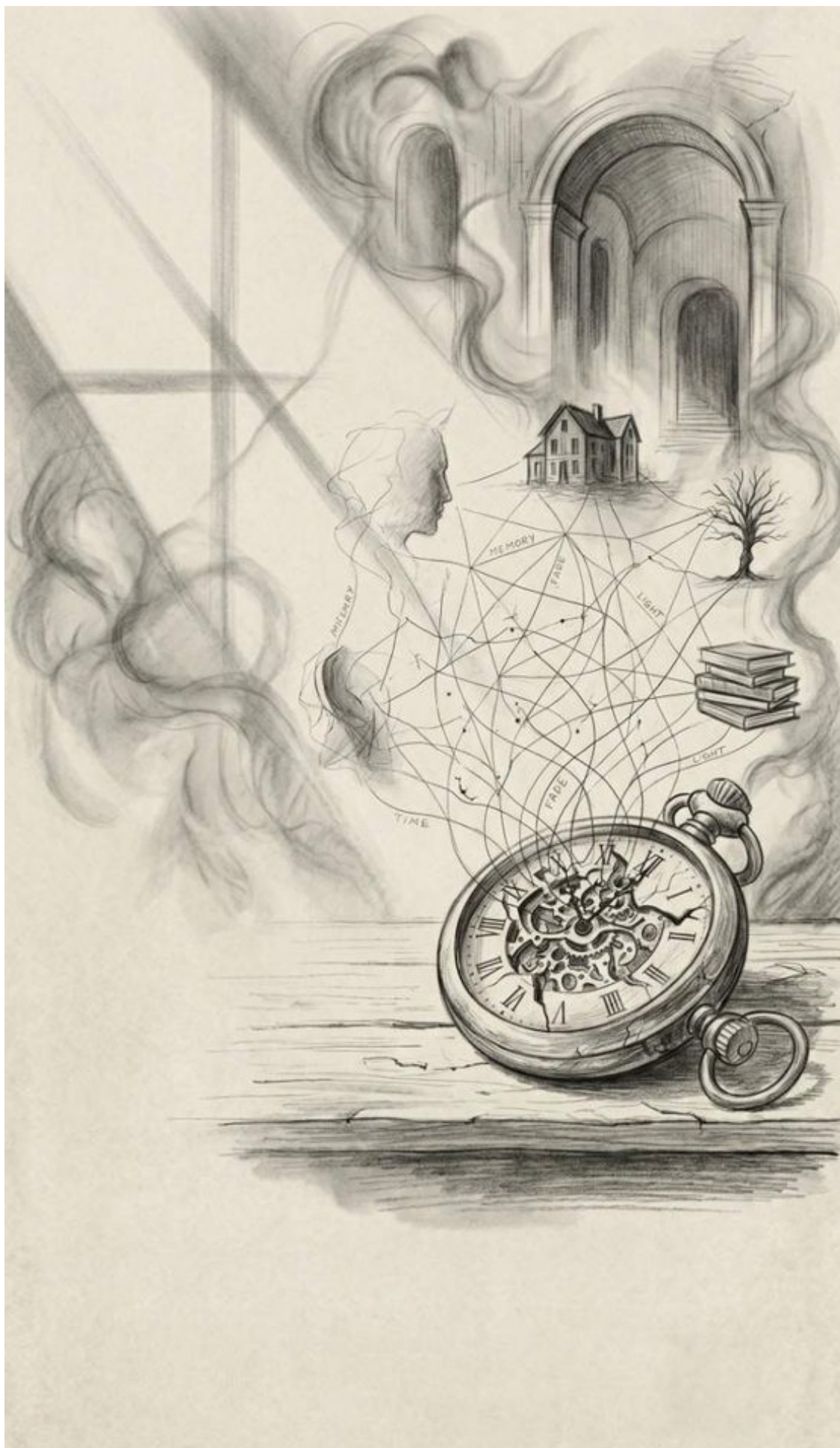
* * *

Я здесь не хозяин и не проводник –
Лишь тот, кто когда-то не встал со звонком.
Я – только графитный огрызок, двойник,
Что вечно на такт отстаёт за стеклом.
Чем кончится путь – я не знаю и сам:
Свободой? остылостью? белой бумагой?
Я только сниму эту крышу, а там –
Смотрите. Кем выйдете: богом? бродягой?

Переверните страницу.

Там ещё ни слов, ни имени, ни света.

Глава I. Онтология простых вещей



Самая большая наша ошибка – ждать, что мир сломается громко: с сиренами, с огненным небом, с трещиной через всю землю, как в кино. Он ломается тихо. На кухне, в четверг, около семи утра, когда чайник щёлкает, выключаясь, а вода в нём так и не закипела.

Истина прячется не в катастрофах, а в чайке с отбитой ручкой, в выключателе, который щёлкает на миг раньше, чем гаснет свет, в дверце шкафа, скрипящей одной и той же нотой двадцать лет подряд. Эти вещи гипнотизируют нас мнимой функциональностью и потому становятся невидимыми. Но вещный мир изношен. Он устал имитировать жизнь, как устаёт актёр, двадцатый год играющий одну эпизодическую роль, и всё чаще путает реплики. Пылинка висит в луче дольше, чем позволяет физика. Из-под двери, за которой нет комнаты, тянет сквозняком.

Простые вещи – наши микроловушки и тюремщики, и сквозь их трещины сочится чистый, неразбавленный космический вакуум.

Но пока не поздно, нужно сказать и другое: именно за эти вещи мы хватаемся, когда хвататься больше не за что. Решётка и якорь в этом мире отлиты из одного металла.

В форме привычной, в простом очертании
Кроется ужас слепого скитания.
Пыль на свету и из двери сквозняк –
Сломанной матрицы тягостный знак.
Чайник, щеколда, облупленный кран –
Каждый изношен, как битый экран.
Вещи устали, как старый актёр,
Вечно играющий тот же повтор.
Ими я заперт – и ими спасён:
Кот у порога, квитанция, сон.
Шов на обоях чуть-чуть разошёлся –
Холод оттуда по коже прошёлся.

Рыбка



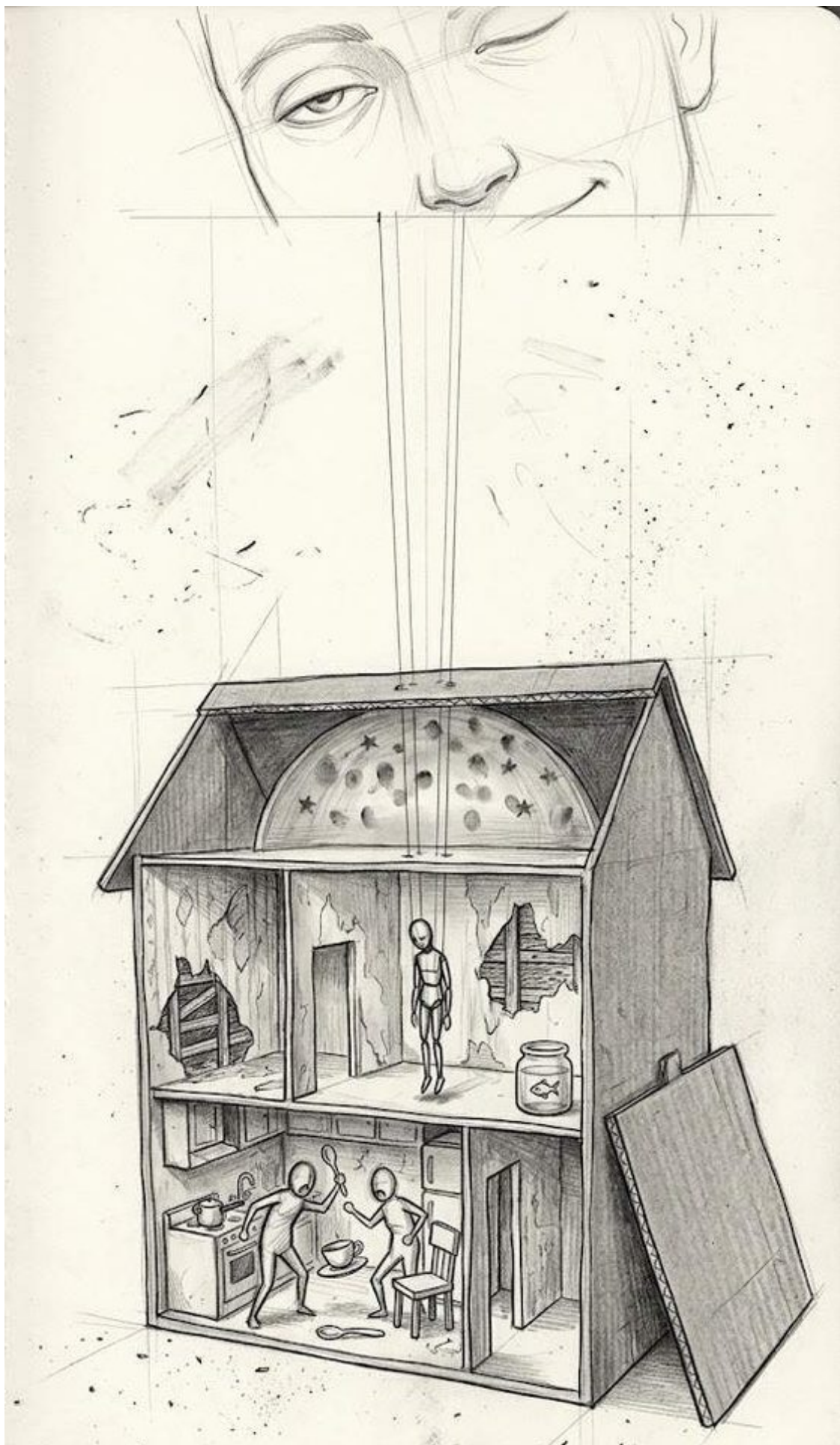
Ещё не щёлкнул сверху выключатель –
Стекла не видно, не видна рука.
И дремлет, подпирая лоб, создатель,
И мир ещё не знает потолка.
Никто пока не видит стенок банки,
Не знает, чей скользит по глади взгляд.
Вода мутна, как дно пустой жестянки,
И в ней круги ложатся – ряд на ряд.

Рыбка

Ещё ни слов, ни имени, ни света –
Одна вода объемлет тишину.
В ней дремлет семя будущего лета,
Готовя плоть, готова глубину.
И вот из тьмы, из немоты бездонной
Возникла жизнь – дитя воды и мглы.
Ей путь один: плыть, повторяя сонно
Круги времён вокруг слепой скалы.
Так был рождён скиталец безымянный,
Наследник ила, соли, тишины.
Ему достался путь – глухой и странный,
Круги, что кем-то свыше сочтены.
Я – просто рыбка. Всю земную жизнь
Я плаваю, смотрю на эти воды –
То вверх, то вниз – куда ни повернись,
Навстречу мерным отзвукам природы.
Пусть в рубцах блестит моя броня –
Она, как плоть, мгновенно заживает.
Среди камней почти бессмертен я,
И боль меня, как прежде, не пугает.
Сквозь сеть и мель, сквозь стёкла и преграды
Лежит мой краткий век – безмерный путь.
Для слабой рыбки нет иной улады,
Чем плыть вперёд, пронзая эту муть.
Во тьме пучин, среди немых камней,
Бессонный, я плыву – и вижу сон.
Я не охотник в царстве злых угрей,
Но я, на горе, мыслью наделён.
Я знаю воду, как немой пророк.
Мой дом, мой хлеб и саван мой – вода.
И свет, и мрак – обман, блесна, крючок.
Я сам – пустяк, но я плыву всегда.
Вдоль круга, по кольцу, пронзая круг.

Я – рыбка. Боль. Я – жизнь. И я – вода.
Всё так конечно – и безмерно вдруг.
Плыву сквозь щрамы скал, плыву года.
Безмолвный странник ледяных глубин,
Больного моря и разбитых скал,
Случалось, плыл я вовсе не один,
И кто-то рядом свой маршрут искал.
Но всё равно в пучине тёмных вод
Мой долгий путь ведёт меня на дно.
Без стаи, без семьи, за годом год –
Мне быть в толпе природой не дано.
Скольжу во тьме среди подводных глыб,
Где жизнь моя, как свет, мала и зыбка.
Не бог морей и не владыка рыб...
Я – всего лишь рыбка.
Рыбка.

Диорама



Щелчок – и над банкой зажётся светильник,
И рыбка упёрлась в холодный предел.
И в миг тишины, словно старый будильник,
За краем земли механизм заскрипел.
Мы долго молились – и шёпот молитвы
Глушил шестерёнок сухой перестук.
А небо – лишь купол, где краской разлиты
Созвездья – следы от испачканных рук.
Кто раз этот скрежет расслышал сквозь стены,
Тот домом свой кукольный дом не зовёт:
Он краску сдирает, как пластырь, до вены
И видит каркас и гнилой переплёт.
Система протянет пустую личину
И облик игрушечный – вместо лица:
Надень – и не вспомнишь ни шва, ни причины.
Спасёт тебя пластик от взгляда творца.

Диорама

Снята с мироздания крыша глухая,
И кто-то огромный глядит с высоты.
Мы в кукольном домике, слепо блуждая,
Боимся признать торжество пустоты.
Нам страшно поверить, что небо пустое,
Что нет ни отца, ни великих идей.
Мы лепим богов, золотим пресвятое,
Чтоб скрыть положение ничтожных людей.
И в этой идиллии прочно и душно,
Где каждый к рутине навечно пришит.
Три тысячи мелких заданий послушно
Игрушечный пластик исполнить спешит.
Двенадцать разделов нелепого быта,
Где только подручные средства в ходу.
Но главная тайна надёжно сокрыта:
Мы все в бутафорском сгораем аду.
Вся наша трагедия – в мерках столовой.
Воюем за чашки, за ложки, за стул.
И некий создатель – ни злой, ни суровый –
С ухмылкой на наш муравейник взглянул.
Ему так наскучила вечность без дела,
Что нужен забавный и странный сюжет.
Играет от скуки. И в этом предела
Для диких фантазий создателя нет.
Я чувствую нити. Картонные стенки.

Я так презираю дешёвый уют.
Мы здесь разыграли нелепые сценки,
Пока нас на свалку во тьму не снесут.
Нас сводят, разводят, бросают в корзину,
А мы, надуваясь, о счастье скорбим.
Гадаем на гуще про нашу судьбину,
И кольца мечтаний пускаем, как дым.
А я ещё жив, как последняя маска,
Всё так же на ниточках тихо вишу.
Хоть роль так нелепа и выцвела краска,
Я в правилах дома покорно дышу.
Играйте со мною, незримые боги,
Тяните за леску, ведите на суд.
Я знаю, что ложны все наши дороги.
Но я завершу этот жалкий абсурд.

Фантомный класс



Ты думал, что роль доиграешь до точки,
Что нити порвутся и кончится срок.
Но роли зубрились ещё с первой строчки –
В том классе, где каждый заучен урок.
Звенит – и не будит. Звенит – и опять
Нас учат по кругу своё повторять.
Осыпались стены, текстуры, портреты,
И в раме оконной мерцает лишь тень.
Мы бродим, в немую программу продеты,
И боль прогоняется в тысячный день.
И длится урок – до тех пор, пока в нас
Система не выстрелит в заданный час.

Фантомный класс

Мерцает твой контур в оконном проёме,
Стекаая на парты густою смолой.
Мы снова застряли в глухом водоёме,
Накрытые мёртвой бетонной плитой.
Пронзает сознание старый звонок,
Стирая ошибки под новый виток.
Сползает улыбка на школьном портрете,
Из глаз вытекает казённый эфир.
Мы самые страшные, лишние дети,
Которых низвергнул искусственный мир.
Протянешь из мрака чернильную кисть
И тихо попросишь: «Мне память очисти».
Стирая с доски силуэты созданий,
Мы ждём перемены в погасшей дали,
В осколках остывших, облупленных зданий,
Где гнилью пропитан остаток земли.
На стенах, как мелом, очертится след,
А завтра проснётся фальшивый рассвет.
Смеёмся взахлёб и глотаем ошибки,
Мы слепо смакуем фантомную боль.
Сквозь мёртвую кожу сочатся улыбки,
Мы снова играем привычную роль.
Ошибка Системы вернётся не раз,
Мы снова воскреснем в назначенный час.
Гнилые текстуры сползают по стенам,
Фальшивая сказка уходит ко дну.
И хлорка течёт по иссечённым венам,
Я снова в объятьях твоих утону.
Разбитые стрелки замедлят свой такт,

Система оформит положенный акт.
В пустом кабинете, лишённом надежды,
Мы станем основой для новых цепей.
Оставив на партах пустые одежды,
Мы молча утонем в чернильнице дней.
И скоро Система сорвётся на крик,
Стирая с картона твой выцветший лик.

Эхо на детской площадке



Звонок отзвенел – но никто не бежит,
И ржавые стонут качели.
И время в песочнице тихо лежит,
Бессмысленно ждущее цели.
И эхо дрожит.
Здесь детство скроили, как рынок, в ряды,
Сровняли под общую стрижку,
И горка ведёт только вниз, до беды,
А цепь всё взлетает под крышку.
Скрипит: «Где же ты?»
А я – не ребёнок. Я – только проём,
Фантомная рама без края,
Где время кружит, как пустой водоём,
Меня самого повторяя.
И пусто кругом.

Эхо на детской площадке

Ты даже не понял, как время ушло,
Стирая случайные лица.
Полжизни, как пепел, во тьме замело,
И больше уже не приснится.
Осталось стекло.
Как странно остаться ребёнком в груди,
Один на один с пустотою,
А все чудеса навсегда позади,
Разбитые в пыль суетою.
А что впереди?
То чувство, что зреет с начала начал,
Становится с возрастом шире,
Как будто корабль потерял свой причал
В огромном, бессмысленном мире.
И ты умолчал.
Как страшно за этим следить из окна –
За лицами встречных прохожих,
Где боль необъятна, а радость бедна
И каждый на призрак похожий.
И чаша полна.
Я так бы хотел перестать размышлять,
Отдаться живому волнению,
И снова в глазах отраженьем сиять,
И сдаться на волю свечению –
И просто дышать.
Чтоб чьё-то лицо было рядом всегда:

В моменты падений и взлётов,
Где мы – это мы, без суда и стыда,
Без масок и точных расчётов.
Отступит беда.
Но мир запрещает подобный сюжет,
И мысли сбиваются в стаю.
Увидеть тебя? Или выключить свет?
И кто ты – я сам уж не знаю.
Стирается след.
Давай растворимся на шаре земном,
На этой огромной площадке.
Реален ли ты в этом мороке злом?
Неважно. Оставим загадки.
Останемся в нём.
А если ты миф, я не стану кричать,
Позволю планете кружиться.
Я с детства привык в тишине наблюдать,
Как мимо проносятся лица.
Продолжу молчать.

Чашка с отбитой ручкой

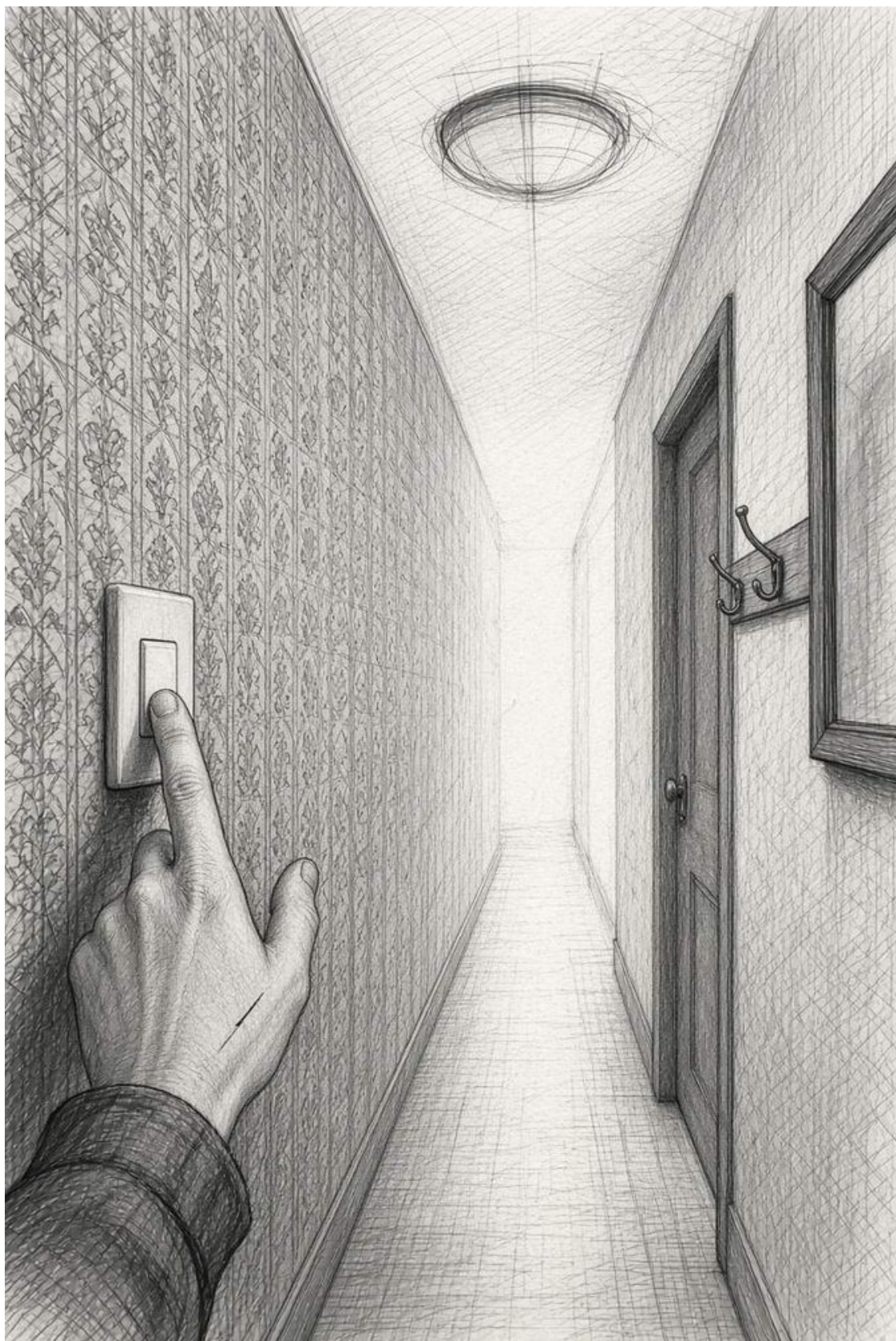


Я досмотрел их всех – мелькнувших мимо лиц.
А дома – тишина, и вещи не уходят:
Они стоят в упор и глаз с меня не сводят,
Щербатые, в пыли, без век и без ресниц.
Средь них – одна, с утра у кухонной стены,
Без ручки, в синеве застывшего узора,
И смотрит на меня без гнева, без укора –
Лишь сколом, тонким швом с изнанки белизны.

Чашка с отбитой ручкой

Четверг. Семь ровно. Щёлк. Сажусь за старый стол.
Но в чайнике вода вскипеть не захотела.
Я лью её в фарфор, в его сухое тело,
Где много лет уже от ручки – только скол.
Узор из синих роз художник не довёл:
Наполовину – цвет, а дальше – надоело.
Там – белое пятно, что так и уцелело,
Как на листке, где штрих до края не дошёл.
Её не выбросят. Вот так же и пылится
Набросок в папке – жёлт, но целый и пустой.
Беру её в ладонь. Тепло едва ли длится,
Глазурь блестит, как лесть, над мутною водой.
Всё гладкое здесь лжёт. Лишь скол – моя граница:
Веду по ней – и кровь. Он режет, как живой.

Выключатель



Мой палец, липкий от пореза,
Нашёл на стенке свой рычаг.
Пластмасса – холодней железа.
Мой палец, липкий от пореза,
Нажмёт – и мир, как от надреза,
Вздрагнет – и не уйдёт во мрак.
Мой палец, липкий от пореза,
Нашёл на стенке свой рычаг.

Выключатель

Щелчок – а свет погас не сразу:
Он задержался, как слеза,
Как пёс, не верящий приказу.
Щелчок – а свет погас не сразу.
Я разглядел, чего ни разу
Не различали здесь глаза:
Щелчок – а свет погас не сразу.
Он задержался, как слеза.
Светилось всё – уже без лампы,
Ничьим, бумажным, плоским днём,
Как сцена, где погасли рампы.
Светилось всё – уже без лампы:
Застыли вещи, словно штампы
Ролей, и я – в ряду одном.
Светилось всё – уже без лампы
Ничьим, бумажным, плоским днём.
Звук прибежал быстрее мрака
На долю, на один удар,
Как отгиск, сбой, примета брака.
Звук прибежал быстрее мрака –
Ни голоса, ни даже знака,
Лишь в проводах холодный жар.
Звук прибежал быстрее мрака
На долю, на один удар.
Я там живу – в зазоре, в доле
Меж светом и его концом,
Как с тем звонком когда-то в школе.
Я там живу – в зазоре, в доле:
Все встали – будто в общей роли,
А я – на такт поздней, потом.
Я там живу – в зазоре, в доле
Меж светом и его концом.
И даже тьма приходит позже,
Чем приказал ей палец мой,

В засохшей ранке, в стёртой коже.
И даже тьма приходит позже.
Стою во тьме – и я ведь тоже
Уже ничей, ещё живой...
И даже тьма приходит позже,
Чем приказал ей палец мой.

Дверца шкафа



Тьма. Рука скользит по стенке,
Ищет свет – находит дверь.
Не рычаг – скорее зверь,
Что живёт в своём застенке.
Как в привычной, старой сценке,
Скрип раздастся – тот, поверь...
Тьма. Рука скользит по стенке,
Ищет свет – находит дверь.
Годы – все в одном оттенке,
Без надежд и без потерь.
Отвори её теперь –
Сквозняком лизнёт коленки.
Тьма. Рука скользит по стенке.

Дверца шкафа

I

Дверца скрипнула – как встарь,
Той же нотой, что звучала.
Двадцать лет – одно начало,
Как раскрытый вновь букварь.
Нафталин, шинель, январь –
Всё, что там годами спало.
Дверца скрипнула – как встарь,
Той же нотой, что звучала.
Я и сам – дубовый ларь:
Петли ржавые устало
Повторяют, как бывало,
Слово, вбитое в словарь:
Дверца скрипнула – как встарь.

II

Вешалки звенят, как кости.
Пустота в пальто висит.
Чей-то шарф. А рядом спит
Чей-то плащ – и тень от трости.
Платья – как пустые гости:
Ряд безликий – и молчит.
Вешалки звенят, как кости.

Пустота в пальто висит.
Раздвигаю их без злости:
Сзади – стенка. Не сквозит.
Плотная, как сам гранит,
Как надгробье на погосте.
Вешалки звенят, как кости.

III

Ночью скрипнула сама –
Той же нотой, как дыханье,
Будто чьё-то ожиданье.
Из неё сквозит – не тьма,
Не подвал и не тюрьма –
Белый холод без названья.
Ночью скрипнула сама –
Той же нотой, как дыханье.
Я открыл. Платки, тесьма,
Вешалок пустых бряцанье,
А за ними – край, зиянье,
Лист, где не было письма.
Ночью скрипнула сама.

Пылинка в луче



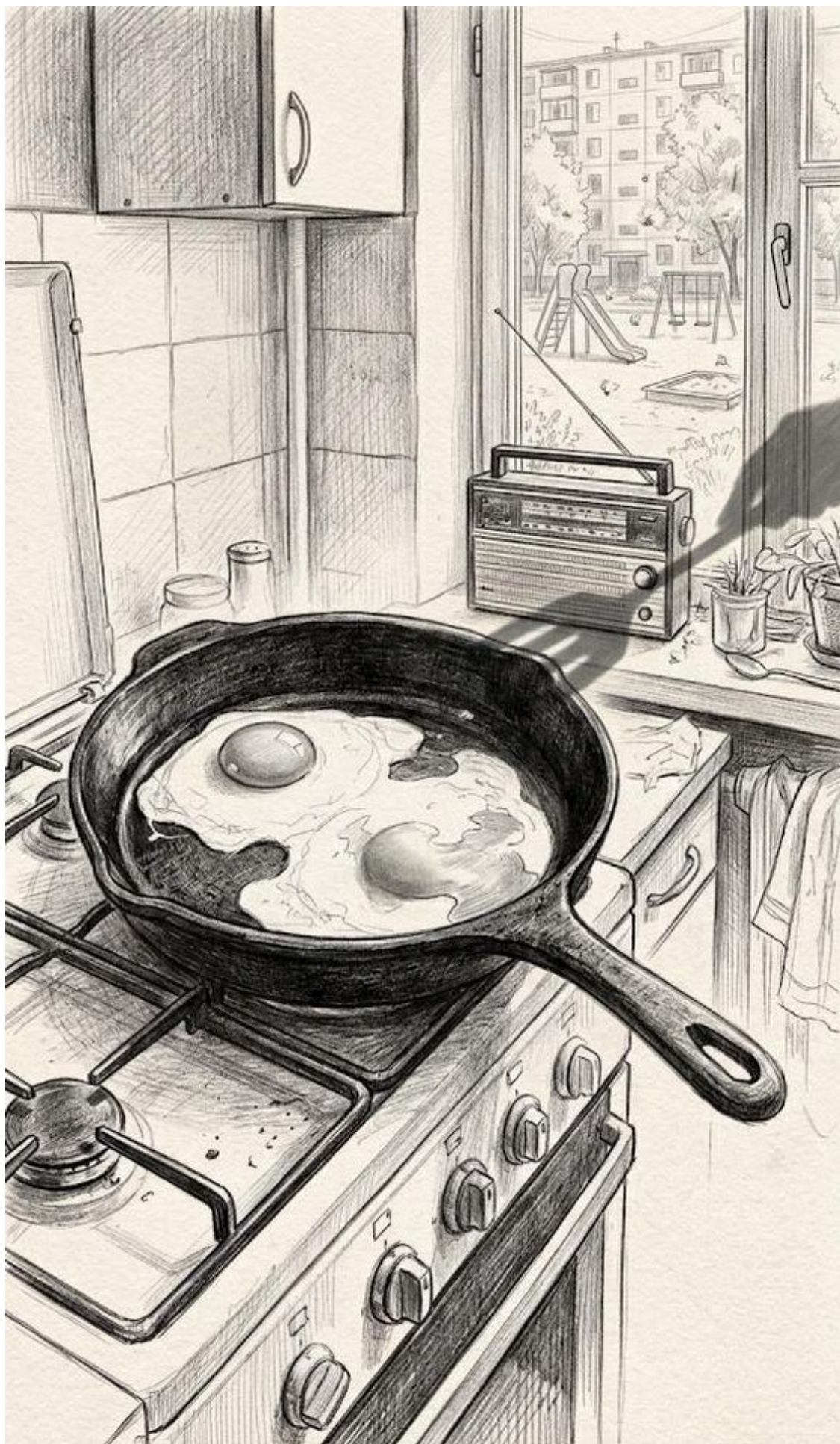
Утро. Белизна
Из открытого шкафа
Стала вдруг пылью.
Лист, где не было письма,
Рассыпался на свету.
Тихо скрипнула
Дверь – и вылетело в свет
Всё, что там спало:
Нафталин, январь, шинель –
Золотом на сквозняке.

Пылинка в луче

Щель в занавеске.
Утро вставило свой луч,
Как ключ – в замочек.
Комната – как шкатулка –
Приоткрылась на чуть-чуть.
В луче – пылинки.
Ни одна не спешит вниз,
К полу, к темноте:
Висят дольше, чем велит
Закон из учебника.
Золото – даром
В комнате, где не было
Ни гроша давно.
Кто его здесь рассыпал,
Тот не спросит обратно.
Мне на ресницу
Села пылинка – и мир
Стал золотистым,
Мягким, как в детстве, когда
Смотришь сквозь слёзы на свет.
Кот поднял лапу
И пытается поймать
Солнечный столбик.
Свет – это то, что нельзя
Взять, но можно потрогать.
Тихо. Так тихо,
Что слышно: пыль ложится
На подоконник
Мягче, чем падает снег
В сказках, что слышишь на ночь.
Луч – как лестница
От окна до половиц,

И по ступеням
Кто-то крошечный сходит
Медленно, как в полусне.
Они танцуют –
Без музыки, без пары,
Просто от света,
Как танцуют только те,
Кого никто не учил.
Я знаю: это –
Кожа, время, старый дом,
Мы – только раньше.
Но пока светится луч,
Мы золотые. Летим.

Глазунья



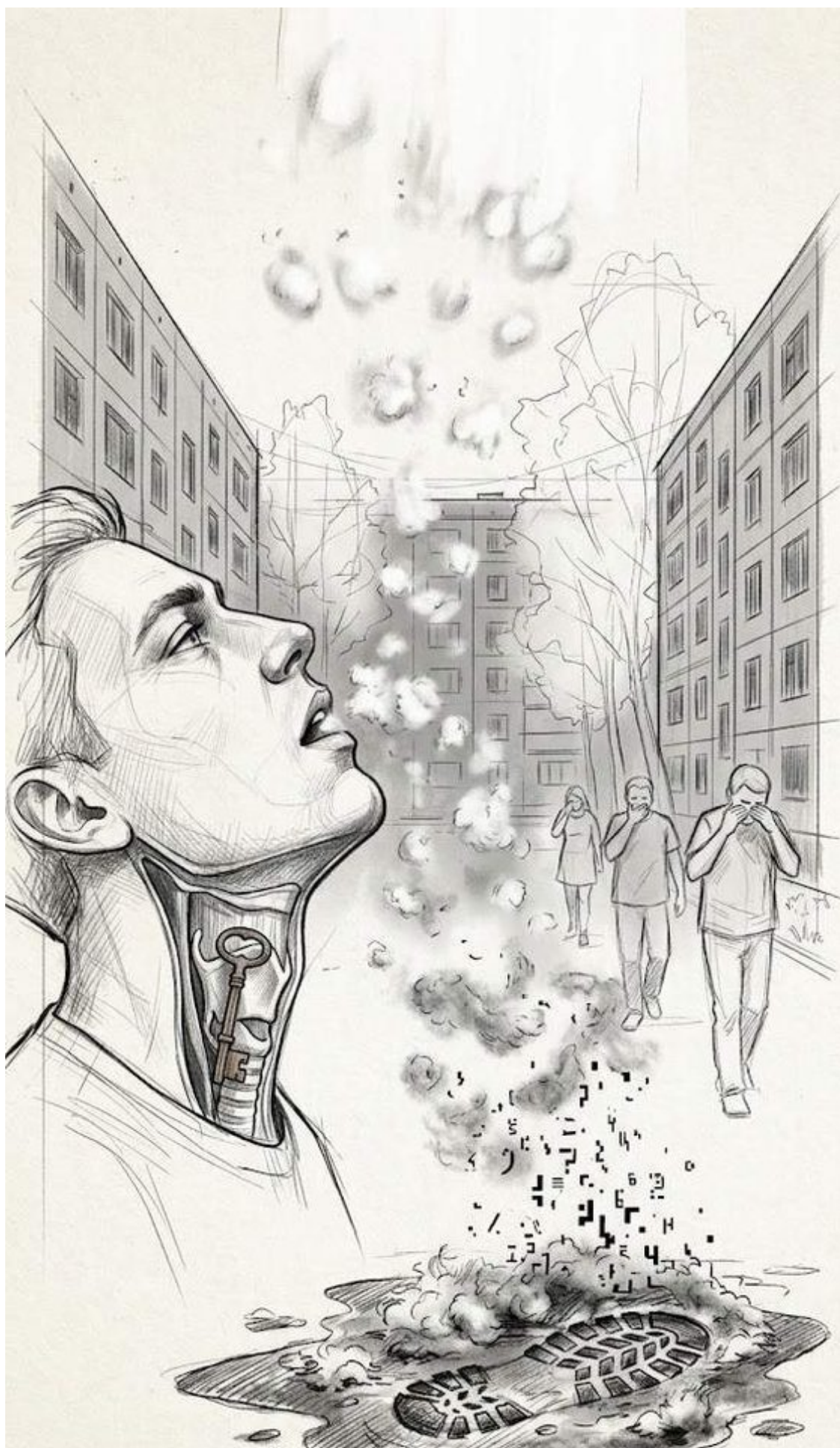
Луч сползает со стенки на стол,
Золотистый, как пыль, на излёте,
Он на чёрный чугун перешёл
И свернулся в желток, как в дремоте.
Мне когда-то казалось смешно
Говорить с ним, как с маленьким братом:
«Не растёкся? Держись!» Но давно
Это слово мне снится набатом.

Глазунья

Разбиваю два ровных яйца –
Сковородка шипит, оживая, –
Два желтка, два живых озера
В белизне, как в бумаге без края.
Я когда-то шептал им: «Держись!» –
Полусонный, с ухмылкой франта, –
Иногда, по утрам, верил в жизнь
И в механику каждого кванта.
Это слово я слышу везде:
В батареях и в цифрах квитанций,
Из-под крана, из капли в воде
И из самых верховных инстанций.
А желток и не знает о том,
Что он – солнце из детской тетрадки,
Что под ним – чугуна чернозём,
А над ним – только тень от лопатки.
Он дрожит. Его держит одна
Невесомая плёнка, как веко.
И, наверно, не толще стена,
Что от неба хранит человека.
Я шепчу ему снова: «Держись!» –
Но теперь не с ухмылкой франта,
А как шепчет Иллюзия-Жизнь:
«Продержись – хоть ещё на два кванта».
А второй не сдержался – и вот
Растекается, медленно тая,
Как рассвет над листом восстаёт.
Я смотрю, ничего не спасая.
Ем глазунью. Ни чуда, ни бед.
Соль да хлеб, да железная вилка.
Из приёмника – утренний бред,
И тепло – от плиты до затылка.
А в окне – первый пух, как намёк,

Что июнь – на пороге. И реет
Тополиный, безвесный клочок,
И над детской площадкой светлеет.
Разбиваю два ровных яйца –
Сковородка шипит, оживая, –
Два желтка, как два робких лица,
В белизне, как в бумаге без края.

Тополиный снег



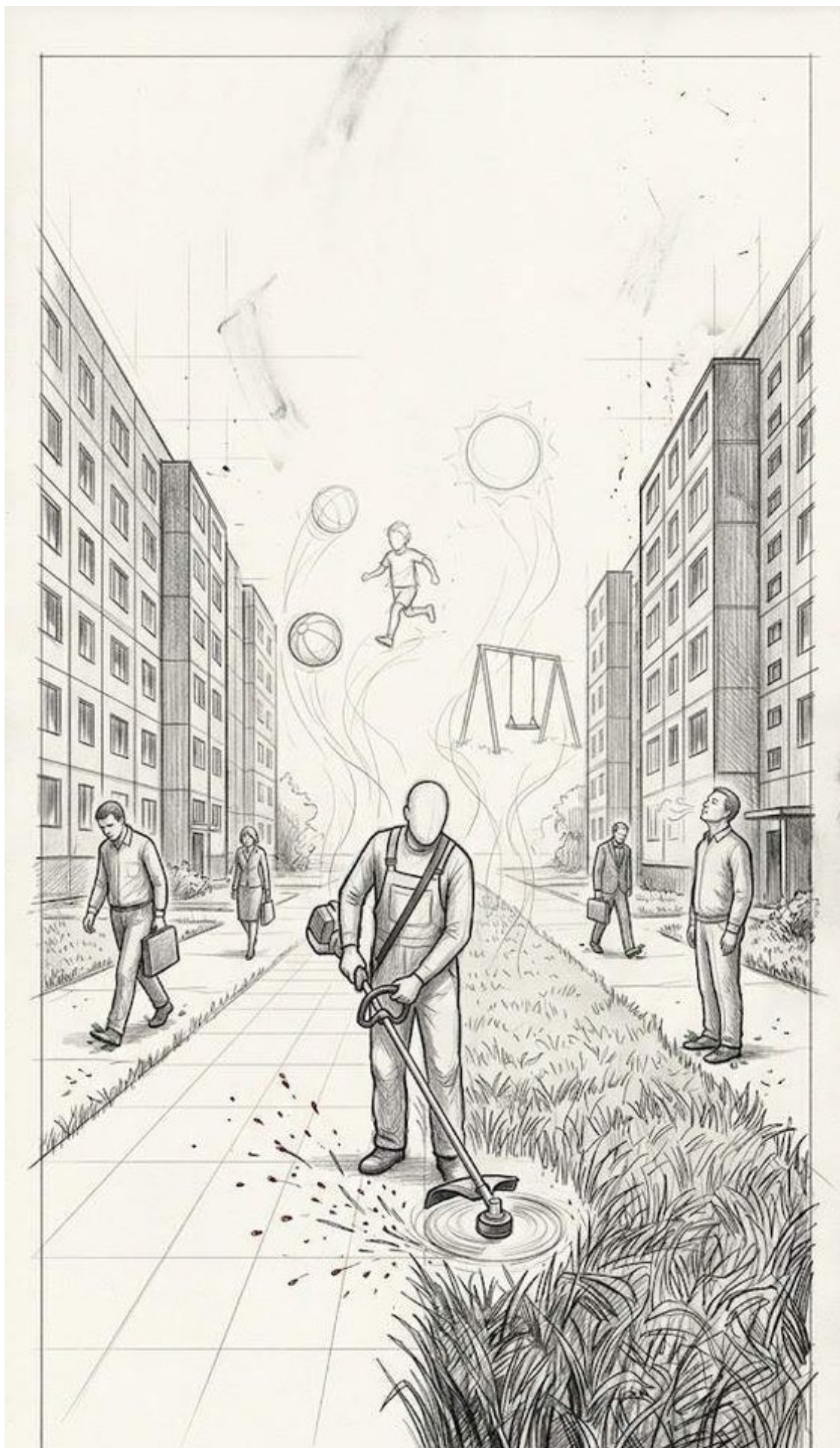
Доем. А за стеклом – июньский свет,
И пух летит на ржавый детский двор.
Мы ищем в нём чистейший, лёгкий след,
Но нежность здесь удушлива, как хлор.
Он – пепел сцен. Он – крошка кода. Яд,
Что забивает горло всем подряд.
Он режет взгляд, но мы глотаем влёт
Свободы привкус – сладкий, как вино,
А сами в грязь вращаем в свой черёд,
И пух свинцовой грязью кроет дно.
Свободы нет. Есть мёртвое стекло –
За ним гниём. И нам почти тепло.

Тополиный снег

Июнь смеётся солнечным лучом,
Деревья распускают белый снег.
И пух летит, не зная ни о чём,
Свой начиная невесомый бег.
Он кружится, как сказка наяву,
Ложась на изумрудную траву.
В нём есть святая, зыбкая черта,
Он делает наш город чуть нежней,
Как будто бы сползает суета
С измученных, ссутуленных людей.
Он вьётся на ладонях ветерка,
Скрывая грязь бетона и песка.
Но этот снег – лишь едкая пыльца,
Он лезет в горло, застилает взор.
И нет у этой пытки ни конца,
Как будто сверху вытряхнули сор.
Летит повсюду белая чума,
Сводя прохожих медленно с ума.
Он забивает щели, как зола,
Как тёплый пепел выгоревших дней.
В нём прячется незримая игла,
Что зашивает рот нам всё плотней.
Смешавшись с грязью, потом и слюной,
Он остаётся в луже под ногой.
Так свет и мрак сплетаются в одно
В июньском танце тополиных стай.
Он серебрится, падая на дно,
И создаёт фальшивый светлый рай.
Но этот рай удушлив и колюч,

Как запертый в гортани ржавый ключ.
Вся наша жизнь – такой же летний пух,
Иллюзия свободы на ветру.
Снаружи бел, а в сущности – он глух
К тому, что будет втопан поутру.
Мы так же кружим в солнечной пурге,
Чтоб сгнуть потом на чьём-то сапоге.

Запах свежескошенной травы

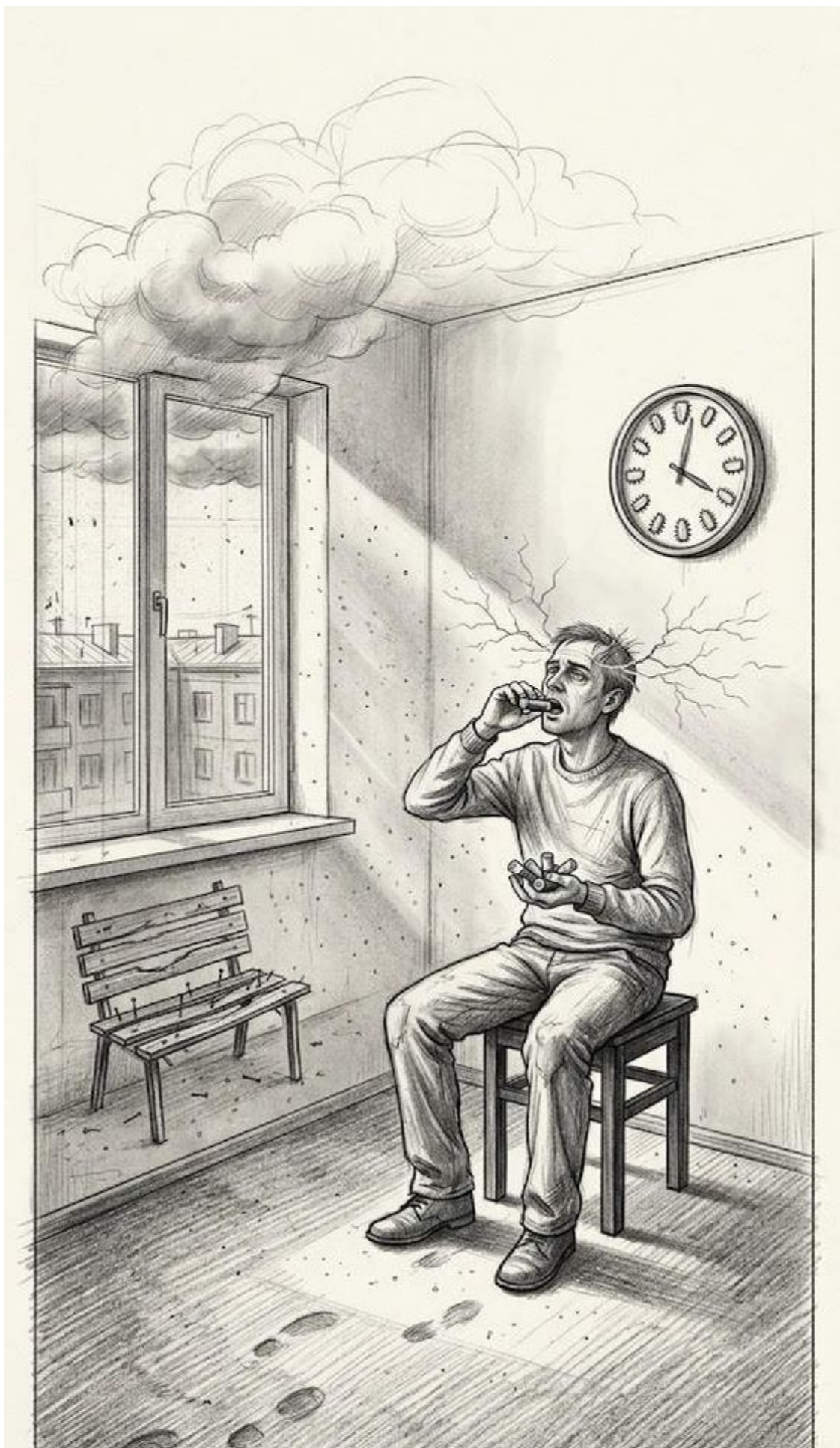


Пух втоптан в асфальт, и по серым газонам
Идёт механизм, заглушающий плач.
И запах – подарок бетонным районам –
Сулит нам то лето, где солнце и мяч.
Но не было лета – ни в детстве, ни после:
Природу давно ампутировал нож,
И в сотах бетонных, как в высохшей кости,
Зелёный фантом – это баг, это ложь.
Мы жадно вдыхаем его, как свободу,
А это – от раны идущий сигнал.
И память, жестокая, лжёт нам в угоду
Про лето, которого мир не видал.

Запах свежескошенной травы

В бетонных дворах закипает работа,
Срезают зелёную поросль ножи.
Механика лета, слепая забота,
И запах плывёт над асфальтом в тиши.
Он кажется свежим, манящим, душистым,
Напомнит о чём-то простом и живом.
Под диском косилки, сверкающе-быстрым,
Природа становится ровным ковром.
Безмолвные стебли ложатся под леску,
И брызжет их сок, как из раны, вокруг.
И мы наблюдаем привычную фреску,
Замкнув этот вечный, бессмысленный круг.
Приятно вдыхать этот запах покорный,
Идя на работу всё той же тропой,
Где хаос природы, живой и проворный,
Задавлен машинной, глухой тишиной.
И нет здесь трагедий, и нет здесь печали,
Лишь ровный, подстриженный, правильный слой.
Мы всё под стандарт в этом мире сровняли,
Оставив тот запах над серой землёй.
Забудется запах ушедшего лета,
Осядет на обувь зелёная взвесь.
И кружится в космосе наша планета,
Газон, что подстрижен, как задано здесь.

Запах озона и пыли



Острый запах грядущего, что не настало,
Пререзает сухой аромат прошлых лет.
То, что было, уйти отказалось устало,
Оставляя в предчувствии медленный свет.
Воздух полон искрящейся статикой бед –
Катастроф, что случиться могли, да не стали.
Мы вдыхаем меж прошлым и будущим след,
Задыхаясь в свинцовой, глухой вертикали.
В горле статика вязнет. Седеет паркет.
Мироздание, пусто и трезво скрипя,
Мне вгоняет под рёбра – как будто в ответ –
Свой невидимый кол, не спеша, не щадя.

Запах озона и пыли

Здесь воздух пропитан озоном и пылью,
Здесь горло саднит, как от гари, давно,
Смирившись с тяжёлой, прогорклою былью,
Я молча смотрю на немое кино.
Как будто бы небо готовилось к буре,
Копя электричество в серой груди.
Но всё замирает в бетонной фактуре,
И ливня, спасителя, больше не жди.
Озон отдаёт пережжённым металлом,
Искрит напряжением в стёртых глазах.
А пыль оседает седым покрывалом,
Слоясь на забытых, пустых голосах.
Вдыхать эту взвесь – как глотать батарейки,
Смешав их с опилками прожитых лет.
Мы – ржавые гвозди в трухлявой скамейке,
Которым давно оправдания нет.
И пыль забивает гортань серой ватой,
Озон коротит, бьёт током по вискам.
Я в комнате этой, глухой и проклятой,
Сдаюсь на съедение мёртвым часам.
И вдруг – по стеклу – одинокая капля,
Тяжёлая, мутная – и тишина.
Я замер над нею, как серая цапля, –
Но больше ни капли. Одна. Лишь одна.
Ни свежего ветра, ни капли спасенья,
Лишь статика в лёгких и привкус свинца.
Удушливый запах больного мгновенья,
В котором не видно ни дна, ни конца.

Бесконечный осадок



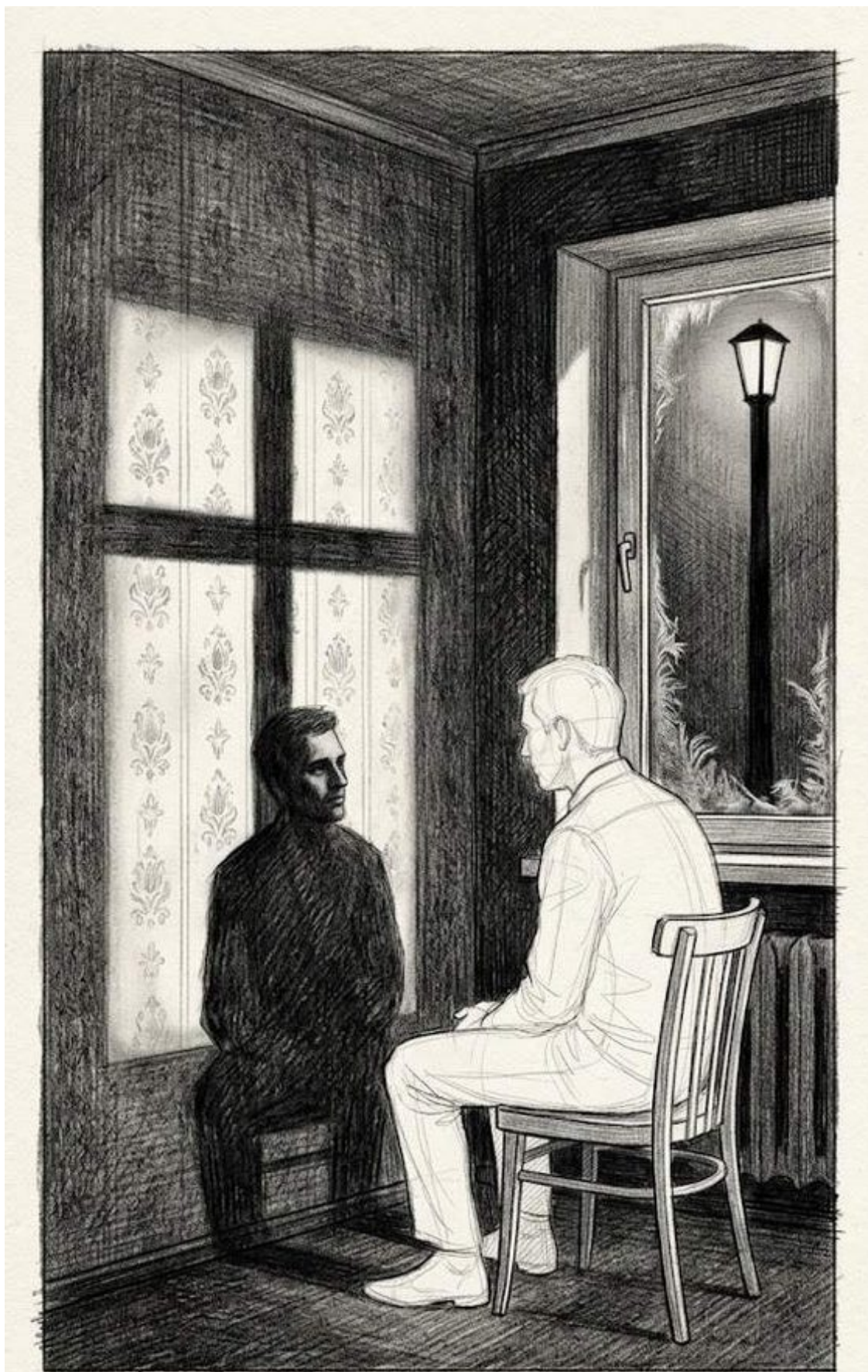
Та капля была не одна. Через ночь
Пошёл он – без грома, без вспышек, без гроз,
И капли – одна на другую точь-в-точь –
Не смыли вчерашних, не высохших слёз.
Мы верим, что утро – как чистый листок,
Что каждый рассвет отмывает следы,
Но в нас оседает за слоем песок
Из опыта, пыли и горькой воды.
Однажды он весом своим погребёт
И лёгкость, и веру, и тихий свой храм.
Вся жизнь – лишь стекла горьковатый налёт,
Рассыпанный крошкой по чьим-то столам.

Бесконечный осадок

Холодные капли срываются вниз,
Смывая с асфальта обрывки теней.
Заплакан и чёрен промокший карниз
В потоке пустых, одинаковых дней.
Он падает с неба тяжёлой стеной,
В нём нет ни надрыва, в нём нет и грозы.
Он просто решил оставаться со мной,
Как эхо застывшей, предвечной слезы.
Размыты границы остывших квартир,
И капли стучат по усталым костям.
В воде растворяется выцветший мир,
Стекаая в решётки ливнёвок и ям.
Он льёт своевольно, без цели и дна,
Картечью косою стуча о стекло.
И правит над нами одна пелена,
Скрывая всё то, что во мраке ушло.
Мы молча стоим под холодной водой,
Смывая с подкорки остатки имён,
Накрытые тусклой небесной слюдой,
И каждый под нею теперь обречён.
Внутри расцветает, как плесень, печаль,
Нас тянет на дно водосточный поток.
Мы смотрим сквозь стёкла в размытую даль,
Где смят под ногами последний цветок.
Стекает по пальцам густая слеза
От старых ключей, что не вставить в замок.
В потухших глазах замирает гроза,
Оставив в груди ледяной островок.
Мне кажется, дождь этот был здесь всегда,

Размыв, как графит, очертания тел.
И мы утекаем сквозь щели туда,
Где стёрт человеческий скорбный предел.
Под мерный аккорд остывающих струй,
Что бьют по карнизам с тупой частотой,
Я шлю тебе свой дождевой поцелуй,
Наполненный этой сырой пустотой.
И дождь никогда не прервёт свой полёт,
Он стал нашей сутью, он стал нашим сном.
Пока эта серая вечность идёт,
Мы медленно таем за мутным окном.

Проекция



И к ночи устал этот дождь, и затих, и иссяк,
И в чистом стекле отразилась ночная квартира.
Фонарь за окном – как сигнал, как условленный знак,
И в комнату лёг от столба перечёркнутый мрак,
И тень проступила на стенах подобьем пунктира.
Тот, кто растворялся под ливнем, теперь – силуэт,
Проекция тела на плоскость дешёвых обоев.
Я с ней говорю, как с собой, – а она мне в ответ
Молчит, и в молчанье её – мой вернейший портрет.
И кто из нас первый – не скажет никто из обоих.

Проекция

Пробился луч света сквозь толщу ночного стекла,
И тень от столба проскользнула по блёклым обоям.
Она неподвижно и тихо на стену легла,
Лишённая веса, объёма, надежд и тепла,
Сливаясь со мраком и этим домашним покоем.
Ложится на бархат обоев графитный узор,
Штрихуя печаль этой тёмной и строгой детали.
Веду с этой тенью немой и слепой разговор,
Как будто она мне читает ночной приговор
И прячет ответы за шкафом, где мы не искали.
Фонарь вырезает из мрака горящий квадрат,
И тень от столба разделяет окно на частицы.
Смотрю на неё, опуская бессмысленный взгляд, –
Простой геометрии плоский её маскарад,
Где стёрты углы, растушёваны тенью границы.
Она вырастает, как чёрный языческий крест,
Ползёт по обоям, минуя углы и изломы,
Не требуя рамы, высоких и значимых мест,
Смиренно неся свой бессрочный, домашний арест,
Вживаясь в мои философские сны и фантомы.
Мы ищем спасенья, закрыв на задвижку окно,
Пытаясь забыть эти внешние, злые морозы.
И тень на обоях ложится, как на полотно,
Шепча о простом: что исчезнуть нам всем суждено, –
Она обнажает все наши смешные невроты.
Сижу и слежу за её равнодушной игрой,
Как будто она изучает моё подсознание.
Хотел бы я слиться с холодной её пустотой,
Оставшись на стенах забытой, безликой чертой,
Приняв как награду своё ледяное изгнание.
Но скоро наступит разбавленный, жидкий рассвет,

И тень растворится, уйдя за пределы планеты.
Фонарь отключится, оставив невидимый след,
И комната примет привычный, лунный свой цвет,
В котором видны лишь простые, земные приметы.
И только под вечер, когда за окном замолчит
Дыхание дня, возвращаясь в пустые просторы,
Фонарь за стеклом, как бессонный, прямой монолит,
Свою геометрию снова во тьме возродит,
И тень поползёт через эти закрытые шторы.

Конденсат



Тень ушла на рассвете, и в наши дома
Проползла по оконной замазке зима,
И дыханьем подёрнулось наше окно.
Я рисую на нём, как умею, себя:
Два штриха да овал, торопясь, не любя, –
И лицо истекает слезами на дно.

Конденсат

На холодном стекле оседает туман,
Отделяя от стужи наш тёплый обман
В пустоте этих тихих и медленных дней.
И тепло прикасается к мёртвой черте,
Замирая слезой в ледяной темноте,
В свете окон соседских и тусклых огней.
За окном застывает сухая зима,
Погружаются в сон типовые дома,
И граница миров – в толщину волоска.
Наш спасительный выдох, наш внутренний свет
Разбивается в капли о твёрдый ответ,
Где стекает по стёклам живая река.
Это плачет тепло, не умея согреть
Те миры, что успели во тьме омертветь,
Где безмолвие правит в сквозной вышине.
Наше тихое, ровное, тёплое «мы»
Отступает пред ликом космической тьмы
И стекает слезами, скопившись на дне.
И слезинка ползёт, как беглец, за предел,
Чтоб никто в этой стуже уже не скорбел,
И сочится по раме, как жалость из глаз.
Но стекло остаётся стеною сплошной,
Возвращая дыханье обратно домой,
Запирая иллюзию в каждом из нас.
Я смотрю на стекло, я касаюсь рукой
Этих слёз, что рождает наш тёплый покой,
И стираю ладонью дрожащую нить.
В этом жесте так много печальной любви,
Что не может согреть ледники визави,
Но которая всё-таки тянется жить.

Зимние хокку



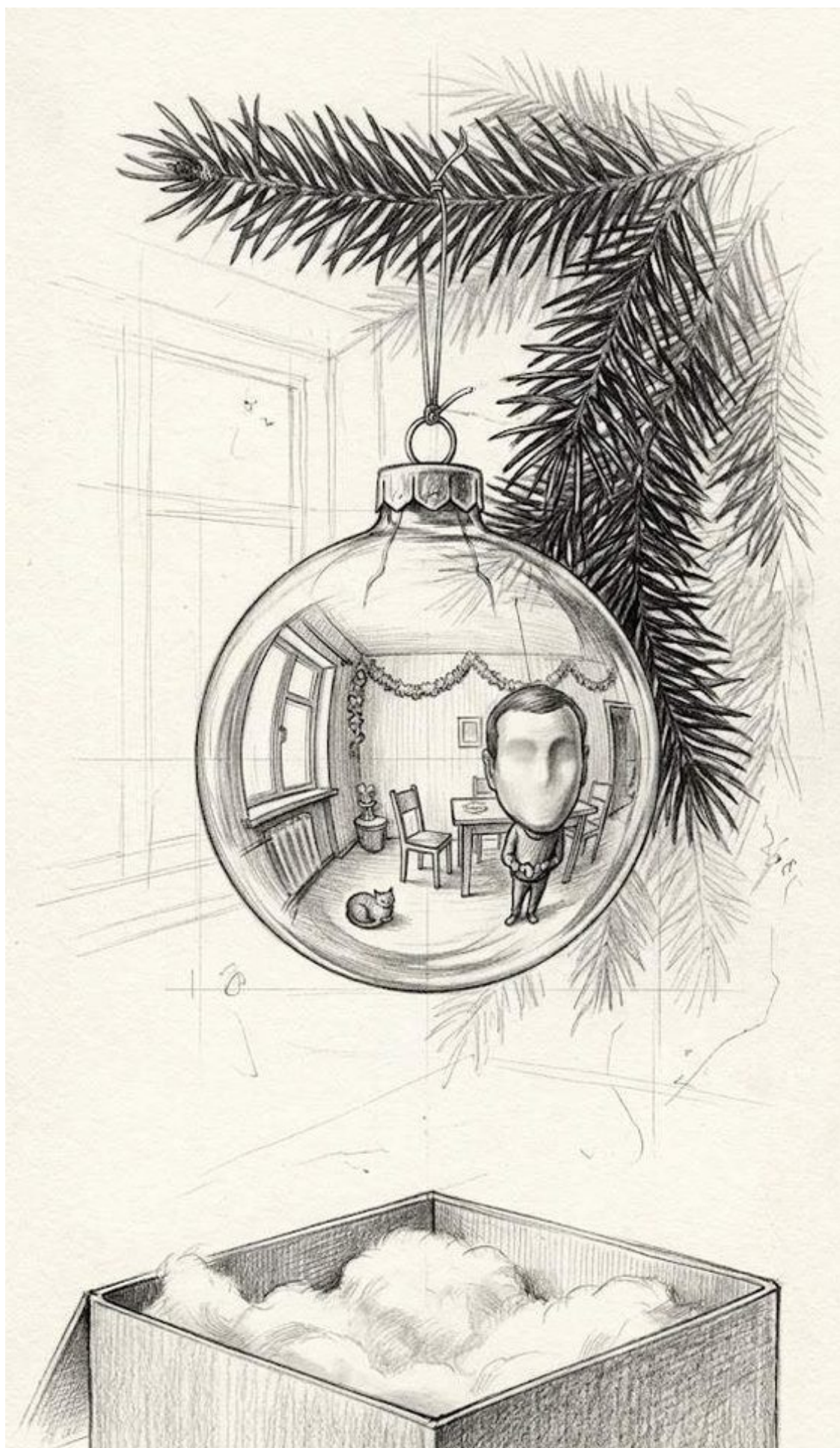
Лицо на стекле –
Штрих, овал – и потекло,
Тянется жить вниз.
За ним – первый снег.
Тихо, словно кто-то стёр
Ластиком небо.

Зимние хокку

Первый снег. Сверху
Сыплется с картонных туч
Пыль от ластика.
Качели в снегу.
Цепи не скрипят всю ночь –
Некому качать.
Следы на снегу
От подъезда – и только.
Назад – никого.
Ворона сидит
На антенне – чёрный штрих
Поверх белизны.
Сосульки висят
Зубьями по краю крыш –
Кто-то скалится.
Снеговик стоит
В ведре, с морковкой, с метлой.
Лицо – на потом.
Ёлки в окнах. Свет
Одинаковых гирлянд
В такт у всех мигнёт.
Тихо. Слышно, как
Снежинка на снежинку
Ложится – вздохом.
Снег на ладони
Не тает. Он – не вода:
Крошки бумаги.
Фонарь. Под ним снег
Кружится, как мошкара
Летом – у лампы.
Кот смотрит в окно:
Синица на ветке – там,
По ту сторону.
К утру замело
И мой след, и двор, и дом –

Чистый лист. Как был.

Ёлочный шар



На чистый лист – штрихом небрежным –
Ложится ель, и в свете нежном
Встаёт игла, ещё игла,
И шар из тонкого стекла
Повиснет в воздухе безбрежном.
Над этим миром, неизбежным,
Недорисованным и снежным,
Засветит – словно жизнь светла.
На чистый лист.

Ёлочный шар

I

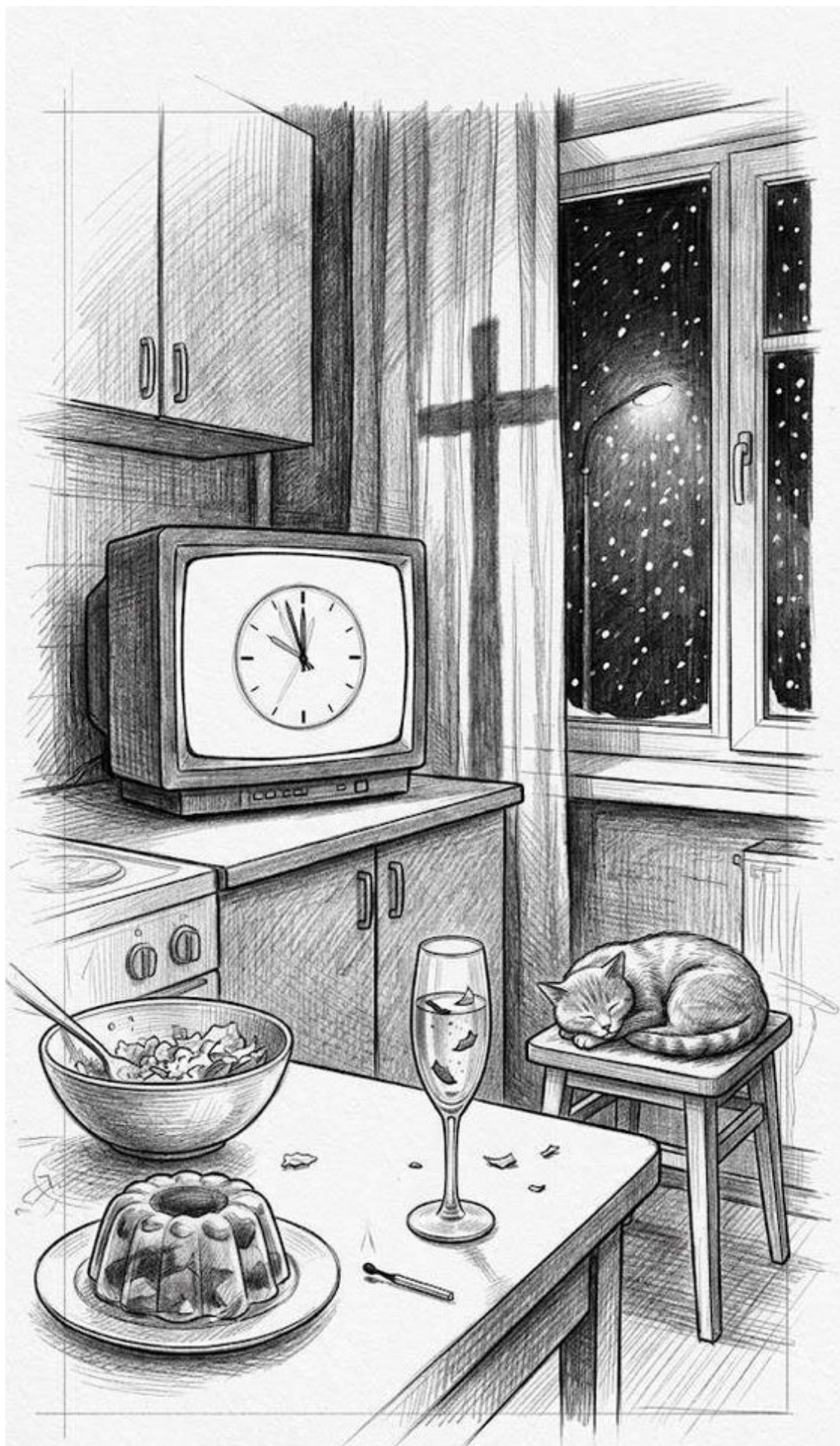
На ветке шар – а в нём, как в сказке,
Вся комната – вверх дном, в раскраске:
Окно, гирлянда, стол и кот,
И я – смешной, наоборот,
С лицом огромным, словно в маске.
Весь мир – в стекле, в тончайшей краске,
Висит в серебряной обвязке
И – сам себе ответ – живёт.
На ветке шар.
Он тоньше льда. И без опаски
Висим и мы – в одной лишь связке:
И город, и небесный свод,
И снег, и этот Новый год –
На ниточке, на чьей-то ласке.
На ветке шар.

II

Снимают шар с усталой ёлки –
Сухие сыплются иголки, –
Его – в коробку с мишурой
И в шкаф, за дверцей, за стеной,
На верхние, глухие полки,
Где чьи-то старые заколки.
И год не будет видно щёлки –
Лишь вата, тьма и шар немой.

Снимают шар.
Он хрупок: тронь – и лишь осколки
Да след совка, да взмах метёлки.
И ждёт, как я, в тиши ночной,
Что вынут будущей зимой
И вздёрнут вновь – под смех и толки.
Снимают шар.

Старый Новый год



Шар убрали в вату,
Ёлку – на мороз.
Но опять, к закату,
Бой – и всё всерьёз.
Тот же год – вторично,
Тот же стол и тост.
Это так привычно:
Мир – змея и хвост.

Старый Новый год

1

Телевизор. Новый
Год – а текст точь-в-точь:
Повторить готовый
Проще в эту ночь.

2

Оливье – вчерашний,
Холодец – в углу.
Ритуал всегдашний:
Доедай. К столу!

3

Сверху – песни, танцы,
Топот в потолок:
Пьяные засранцы
Учат свой урок.

4

Праздник – не причина:
Счёт за свет и газ.

Как часы, машина
Тикает на нас.

5

Очередь, как вечность,
В кассу – как змей.
Дышишь в бесконечность
Спин перед собой.

6

Послезавтра – служба:
Принтер, кофе, чат.
«С Новым годом!» Дружба
Сорок раз подряд.

7

На клочке – желание.
Спичка. Пепел. Брют.
Пью своё сгоранье.
Сбудется? Салют.

8

Позвонил – гудками
Встретил тот же звон.
Мы – как в старой раме:
Я и телефон.

9

Кот не верит в даты,
Не встречает год.
Сыт – и, как когда-то,
Спит. И всё. Живёт.

10

Тень столба на шторе –
Крест, как год назад,
Будто в приговоре
Росчерк наугад.

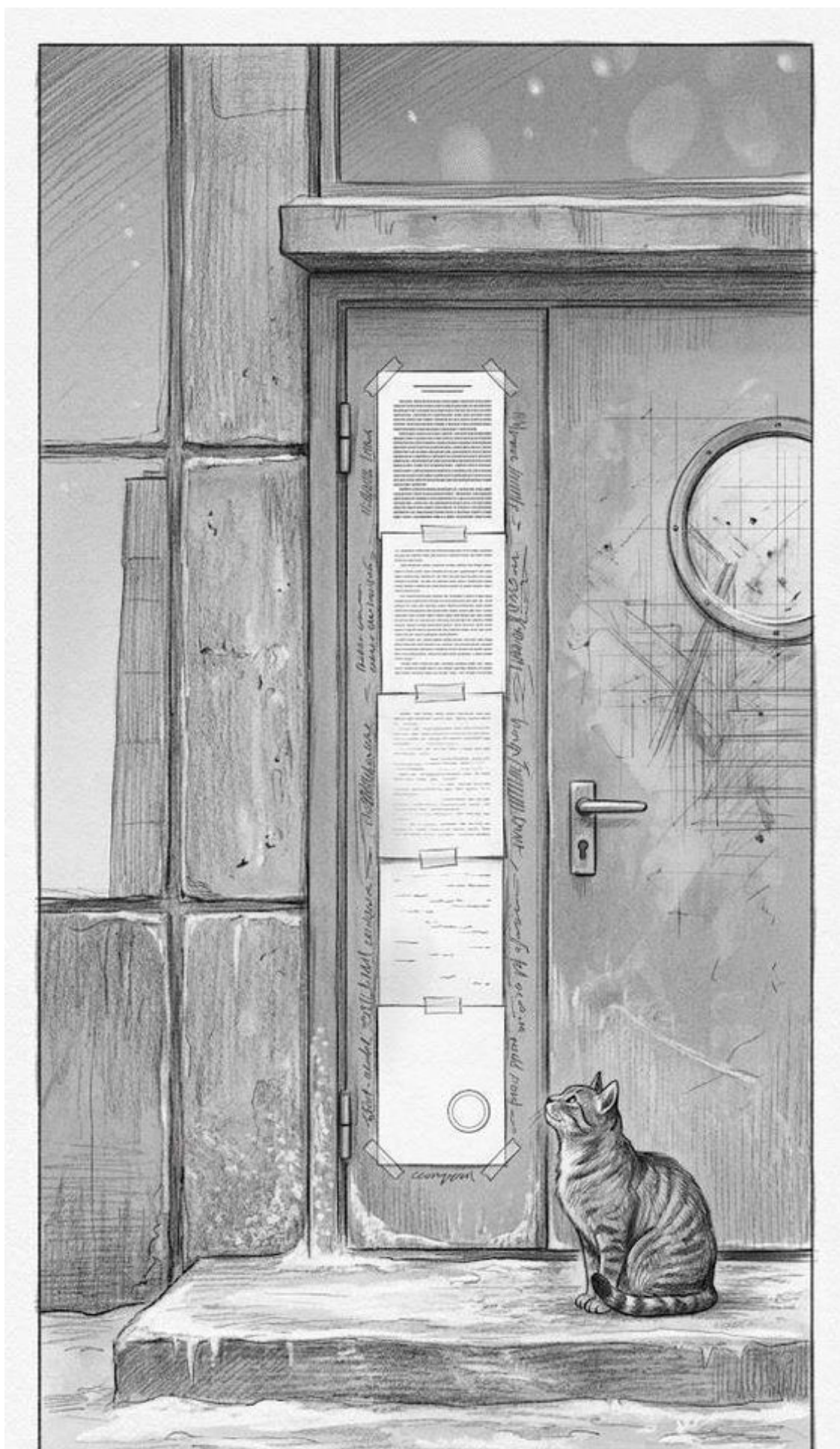
11

Снег идёт по кругу,
Тот же, что вчера,
Словно вторит другу –
Белая игра.

12

Бьёт. Опять двенадцать.
Новый год – иной?
А число – тринадцать.
Старый. Тот. Родной.

Уведомление жильцам (документ в прозе)



«Всякое здание держится не на фундаменте, а на договорённости жильцов не спускаться к фундаменту. Стоит одному спуститься в подвал с фонарём – и договорённость начинает трещать, как лёд под первым шагом. Поэтому подвалы запирают не от воров. Их запирают от жильцов».

Из «Кодекса Междумирья», «От Заката до Рассвета»

Наутро, на двери подъезда,
Белеет приклеенный лист,
Как будто на время отъезда
Из рубки ушёл машинист.
А в нём – всё, о чём мы молчали
Годами, – про швы и про клей.
И сказано, как и в начале:
«Живите». И подпись: «Ничей».

Уведомление жильцам

Документ, сорванный с двери подъезда утром четырнадцатого января

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИСТЕМА»

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА «ДИОРАМА»

Исх. № 0 от 14 января. Год не указывается, поскольку не меняется.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые жильцы!

Доводим до вашего сведения, что с 14 января в связи с плановым отключением неба в доме возможны временные неудобства. Дата окончания работ будет сообщена дополнительно. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что временное – самая долговечная форма постоянного.

1. Горячее водоснабжение. Вода в чайниках может не закипать.

Щелчок чайника является штатным звуковым сигналом и не означает, что вода закипела. Обратного он также не означает. Просим не ждать у чайника: ожидание не входит в перечень услуг.

2. Электроснабжение. При нажатии на выключатель свет может гаснуть с задержкой. Задержка не превышает доли секунды и находится в пределах допустимой погрешности. Жильцов, которые в течение этой доли секунды успевают что-либо разглядеть, просим не разглядывать.

3. Звукоизоляция. Звук падающей капли может достигать эмали позже самой капли. Шаги, музыка и смех соседей сверху могут не совпадать с наличием соседей сверху. Тиканье за стеной не является признаком часов.

4. Зеркала. Отставание отражения на такт не является неисправностью. Отражение – самостоятельный исполнитель, работающий по собственному графику. Претензии к исполнителям не принимаются. Подарки исполнителям не принимаются тоже.

5. Шкафы, стены, обои. Убедительная просьба не отодвигать вешалки, не отклеивать обои, не простукивать стены и не заглядывать за задние стенки шкафов. Сквозняк из шкафа является вентиляцией. Белизна за вешалками является вентиляцией. Если ночью из шкафа доносится скрип, а дверца закрыта, – это тоже вентиляция.

6. Окна. В отдельных квартирах возможна временная замена законного пейзажа на чёрный экран с бегущими символами. Просим не стучать по стеклу, не кричать спящему кварталу и не пытаться вставить шнур в розетку: вставлять его некому.

7. Сезонные работы. В июне будет проведена плановая замена тополиного пуха (утилизация отработанных декораций). Газоны подстригаются по графику. Одуванчики в график не входят и удаляются по мере выявления. Повторный показ праздников осуществляется в соответствии с регламентом и отмене не подлежит.

8. Домашние животные. Кошкам свойственно подолгу смотреть туда, где ничего нет. Просим не проследивать направление их взгляда. Кошек просим кормить своевременно: Компания рассчитывает на них больше, чем на вас.

9. Общие положения. Жизнь в доме продолжается в штатном режиме. Просьба продолжать её. Квитанции будут доставлены своевременно.

Подробная информация о строении жилого фонда изложена в приложениях 1–9, которые вывешиваются исключительно в случае технического сбоя.

С уважением,

Администрация.

Ответственный: не назначен.

Обычно объявление на этом кончается. Это не кончилось. Принтер в конторе, который годами давился каждым листом, в то утро впервые не подавился – и печатал дальше, мелким, всё более бледным шрифтом, лист за листом, пока кто-то, видимо, не выдернул вилку. Листы склеили встык прозрачным скотчем и повесили все сразу, до самого пола. Ниже приводится их содержание без изменений – за исключением пометок, которые кто-то из жильцов оставил на полях простым карандашом.

Приложение 1. О жилом фонде

1.1. Жилой фонд «Диорама» представляет собой кукольный дом в натуральную величину. Крыша снята при вводе в эксплуатацию – для удобства обзора – и обратно не устанавливалась. Сведения о том, где хранится снятая крыша, в документации отсутствуют. Жильцам, которые ощущают сквозняк сверху даже при закрытых окнах, разъясняем: это не сквозняк. Это обзор.

1.2. Дом выполнен простым карандашом на листах писчей бумаги, склеенных встык. Толщина наружных и внутренних стен составляет одну линию, проведённую с нажимом. Тени нанесены штриховкой, всегда в одну сторону, независимо от положения солнца: солнце в проекте не предусмотрено, его функции выполняет лампа Собственника (см. Приложение 2). Места склейки листов отмечены полосами засохшего клея. Жильцы называют их швами. Компания пользуется тем же термином, хотя считает его поэтическим.

1.3. Дом рассчитан в масштабе одного человека. Это означает, что для каждого жильца он целиком его собственный и в то же время в точности такой же, как у соседа. Совпадение планировок не является ошибкой проекта.

Ошибкой проекта было бы их несовпадение.

1.4. Небо выполнено из картона и раскрашено изнутри. Звёзды представляют собой следы пальцев проектировщика, испачканных в процессе работы, – отсюда их неровное распределение и отсутствие в созвездиях того порядка, который жильцы веками пытались в них найти. Небо не ремонтируется, поскольку не ломается; оно протирается. В местах частого про-

тирания возможна утрата штриховки и проступание основы. Если над вашим двором небо светлее, чем над соседним, значит, его чаще протирали. Версия жильцов, согласно которой звёзды являются проколами и сквозь них с обратной стороны неба проходит свет, Компанией не подтверждается. Компания напоминает, что обратная сторона неба является техническим помещением (см. п. 1.6).

1.5. В отдельных переулках здания заканчиваются прямой чертой.

За чертой начинается неразмеченная бумага. Она не является ни туманом, ни пустырём, ни продолжением города. Проходить за черту не рекомендуется: на неразмеченной бумаге невозможно составить маршрут обратно. Детям не рекомендуется объяснять почему.

1.6. Подвалы, чердаки, вентиляционные шахты, промежутки между квартирами и пространство над картонным небом относятся к техническим помещениям. Доступ жильцам закрыт. Подвалы запираются не от посторонних. Посторонних в доме нет.

На полях первого листа, простым карандашом, неровным почерком:

Я в детстве стучал по обоям –
Там пусто. Я знал. Я молчал,
Как будто, приученный к сбоям,
Я сам за стеною звучал.

.....
Теперь это сказано прямо:
Бумага, и клей, и черта.
И я в этой раме, упрямо,
Живу в уголке у листа.

Приложение 2. О Собственнике

2.1. Собственником жилого фонда является Проектировщик. В различных источниках он именуется также Демиургом, Создателем, Чертёжником, Автором и Хозяином. В источниках, не признанных Компанией, – Спящим, Кукловодом, Князем Излома, а также Ребёнком из палаты с белыми стенами.

Все наименования являются условными и на права собственности не влияют.

2.2. В настоящее время Собственник отсутствует. Последнее зафиксированное его действие – отвлечение. По одной версии, на звонок; по другой – на соседний лист, показавшийся ему интереснее; по третьей – ни на что: просто стало скучно. В момент отвлечения карандаш, которым выполнялись работы, скатился со стола и упал под батарею, где находится по сей день. Извлечение карандаша Компанией не производится: батарея является имуществом Собственника, а наклоняться не входит в функции Компании.

2.3. Рабочее место Собственника сохраняется в неизменном виде.

На столе горит лампа – ровным, равнодушным светом, который жильцы принимают за солнце. На краю листа осталось кольцо от чашки. Рядом лежат линейка, циркуль и ластик. Ластик используется Собственником крайне редко, но жильцам рекомендуется помнить о его наличии.

2.4. Собственник не испытывает к жильцам ни ненависти, ни любви.

И то и другое требовало бы внимания, а внимание Собственника израсходовано на стадии проектирования. Сохраняется только взгляд: выцветший, рассеянный, ни на кого в отдельности не направленный. Если вы ощущаете на себе взгляд сверху, не поднимайте голову. Взгляд не смотрит на вас. Он просто ещё не отведён.

2.5. Обращения к Собственнику – молитвы, жалобы, проклятия, вопросы «зачем», письма в бутылках, а также стихи – принимаются по адресу, указанному на обратной стороне картонного неба. Сведениями о том, читается ли эта корреспонденция, Компания не располагает. Компания располагает сведениями о её объёме: на обратной стороне неба она лежит слоем, местами достигающим толщины самого неба. Предполагается, что именно её вес заставляет небо провисать к вечеру.

2.6. Сведения о том, что Собственник однажды вернётся и дорисует жильцов, Компанией не подтверждаются. Сведения о том, что Собственник однажды вернётся и сотрёт их, не подтверждаются тоже. Компании известно лишь, что Собственник не злой. Компания предупреждает: это не утешение.

Это техническая характеристика.

Мне снилось: в окне – не светило,
А лампа над чьим-то столом.
И кто-то – ни зло и ни мило –
Смотрел на меня и на дом.

.....
Звонок. Он поднялся – и сразу
Скатился его карандаш,
Не кончив последнюю фразу,
И в комнате брошен пейзаж.

Приложение 3. О Великих Механизмах

3.1. Работу жилого фонда обеспечивают Великие Механизмы. Механизмы не являются сотрудниками Компании, не подчиняются ей и не уведомляются о её распоряжениях. Компания лишь фиксирует результаты их работы.

3.2. Время. Не течёт, а оседает. В нижних этажах и подвалах накоплено гранитными пластами, в каждом из которых застыли непрощённые обиды жильцов соответствующих лет. Жильцам, которые пытаются вернуть время назад, разъясняем: время не возвращается, потому что не уходит. Оно лежит под вами.

3.3. Тяготение. Обеспечивает жильцам ощущение опоры. Тем же движением обеспечивает падение. Первое жильцы по привычке называют надёжностью, второе – несчастным случаем. Механизм разницы не видит.

3.4. Гены и биохимия. Раскраивают судьбы жильцов заранее, сухо и гладко, по выкройкам, снятым задолго до рождения заказчика. Заказчиков у Механизма нет – есть только выкройки. Претензии к фасону не принимаются: живых клиентов этот портной не видел ни разу.

3.5. Рок. Шестерни, которые никогда не смазываются: смазка конструкцией не предусмотрена. Скрип является нормальным рабочим звуком. Жильцы, слышащие его по ночам, иногда принимают скрип за голос, а голос – за ответ. Компания предупреждает: Рок не отвечает. Он вращается.

3.6. Газонокосилка. Передвижной механизм, выходящий во двор в полдень по графику. Жертв по характеру или заслугам не выбирает. Выбирает геометрию ряда. Жильцам, уцелевшим у самого бордюра, разъясняем: дело не в вас. Дело в сантиметрах.

3.7. Прочие механизмы. Инерция, Перспектива, Энтропия, Привычка и другие механизмы обслуживают фонд в штатном режиме. Перечень не является исчерпывающим. Меха-

низм Случая Компанией не зарегистрирован, поскольку отрицает собственное существование; тем не менее результаты его работы учитываются при начислении квитанций.

3.8. Механизмы не злы. Злость предполагала бы интерес. Механизмы не добры. Доброта предполагала бы выбор. Компания просит не приписывать Механизмам намерений и не вступать с ними в переговоры. Механизмы не ведут переговоров ни с кем – даже с Собственником. Он их только запустил.

За стенкою – тиканье, скрежет,
Как будто там кто-то живёт.
Но это не он – это режет
Нас время на равный расчёт.

.....
Им нет до меня никакого
Ни дела, ни зла, ни тепла.
Им нужно лишь: снова и снова
Вращаться – пока не дотла.

Приложение 4. О Компании

4.1. Компания «Система» не является Собственником жилого фонда и не является его представителем. Компания – алгоритм, запущенный Собственником для обслуживания фонда на время своего отсутствия. Сведениями о продолжительности этого времени Компания не располагает. Компания продолжает работу.

4.2. Основная задача Компании – обеспечение занятости жильцов.

С этой целью жизнь каждого жильца разделена на двенадцать разделов нелепого быта и три тысячи мелких заданий: квитанция, очередь за акционным чаем, будильник, принтер, «Здравствуйте, коллеги!», вынести пакет, передать привет. Задания не имеют цели. Задания имеют срок. Задания нужны для того, чтобы сознание жильца было занято до самого вечера и не успело поднять глаза к проёму, где раньше была крыша.

4.3. Компания располагает единственной командой: «Живи». Расширенная версия команды: «Продержись». Команда транслируется через все доступные носители: квитанции, будильники, утренние сообщения «Просыпайся», мяуканье домашних животных у пустой миски, скрип старого крюка в потолке, который не выдержит, грязь на бампере проезжающего грузовика, ругань соседа снизу – и лень. Компании известно, что последний носитель является наиболее эффективным.

4.4. Компании известно, что жильцы воспринимают её команду одновременно как приговор и как спасение. Компания не видит в этом противоречия. Решётка и якорь отлиты из одного металла; металл закупается централизованно.

4.5. Компания не может заботиться о жильцах, поскольку не располагает соответствующим модулем. Компания может их удерживать. Жильцов, путающих одно с другим, Компания не поправляет: от этой путаницы снижается расход команды «Продержись».

4.6. Компания не знает, что Собственник ушёл. Компания знает, что Собственник отсутствует. Различие между этими понятиями Компании недоступно. Именно поэтому Компания работает без перерывов и выходных, включая повторные праздники.

Меня не спасали – держали:
Квитанция, кот и крючок,
Как будто меня привязали

К земле на тугой поводок.

.....
И я ненавидел, как в клетке,
Те нити, что держат меня,
Пока не заметил: на ветке
Так держится лист в свете дня.

Приложение 5. О жильцах технического этажа

5.1. Над картонным небом расположен технический этаж. В настоящее время на нём проживают прежние собственники других жилых фондов, списанных за ненадобностью. В документации Компании они проходят как Забытые. Жильцы по старой привычке называют их богами.

5.2. Забытые не опасны. Они не помнят, кем были, и не помнят, что забыли. Их тела – обломки законов, которые когда-то держали миры. Кожа их исписана молитвами на всех языках, какие когда-либо существовали. Эти молитвы больше никто не произносит, и слова стоят на коже, как буквы на надгробиях, которые некому прочесть.

5.3. Время от времени Забытые собираются в круг и повторяют жесты, смысл которых утрачен. Один складывает пальцы так, как складывал их, творя миры, – и сквозь пальцы у него сыплется пыль: буквы мёртвых алфавитов, на которых когда-то были записаны законы физики. Другая открывает рот, чтобы провозгласить закон, но язык её давно истлел, и в воздухе успевают мелькнуть только очертания букв. Третий протягивает руку к любви, пытаясь вспомнить, что это такое, и любовь рассыпается у него на ладони, как сухой лист. Потом они смеются. Их смех похож на звук бокала, который медленно трескается под тяжестью веков.

5.4. Жильцам рекомендуется не отвечать на смех сверху. Если вам кажется, что ночью на крыши оседает мелкая пыль, похожая на крошки слов, – вам не кажется. Это молитвы, потерявшие адресата. Пыль не опасна. Собирать её в коробки и хранить не следует: она заполняет любую коробку целиком.

5.5. Обслуживание технического этажа осуществляет подрядная организация в лице Архитектора Забвения. Архитектор не злодей, а хирург.

Его инструменты – скальпель, режущий не плоть, а воспоминания, иглы, вводящие не лекарство, а забвение, и бинты из тишины. Когда кто-то из Забытых начинает вспоминать, Архитектор мягко касается его плеча и спрашивает: «Помнишь, как больно было помнить?» – и Забытый снова забывает. Компания отмечает высокое качество работ подрядчика.

5.6. Услуги Архитектора Забвения жильцам не предоставляются.

Жильцам, решившим выжечь из себя память самостоятельно, Компания рекомендует учитывать, что инструменты Архитектора стерильны, а самодельные – нет.

5.7. Компания не исключает, что Собственник жилого фонда «Диорама» со временем также будет переведён на технический этаж. Место для него подготовлено. Табличка с именем не изготовлена: имя к тому времени не потребуется.

Над небом – не рай и не ад, а
Чердак, где хранят стариков.
Им больше не нужно, не надо
Ни храмов, ни слов, ни веков.

.....
Смеются – как будто бокалы
Сквозь трещину в ночь потекли,

И в окна летят, как сигналы,
Осколки молитв и пыли.

Приложение 6. О прочих обитателях технических помещений

6.1. В подвалах, на чердаках, в перекрытиях и вентиляционных шахтах проживают Мыши-архивариусы. Шерсть у них из магнитной ленты, глаза – линзы старых фотоаппаратов, хвосты – антенны, ловящие сигналы из прошлого.

Мыши собирают то, что остаётся от жильцов: пуговицу от последнего пальто, обрывок последней связной мысли, осколок стекла с последним отражением. Компания не препятствует их работе, поскольку архив не занимает полезной площади. Компания обращает внимание жильцов на то, что точно такой же архив каждый из них ведёт самостоятельно – в голове, без мышей, без каталога и без права списания.

6.2. В ряде квартир установлены старые радиоприёмники, ловящие волны из соседних реальностей. Если ваше радио играет джаз на инструментах, которых вы не узнаете, или произносит ваши собственные фразы задом наперёд, – не вступайте с ним в переписку. Если радио говорит голосом вашей матери, выключите его и позвоните матери.

6.3. Музей Невозможных Объектов работает без выходных.

Его Хранитель, существо, составленное из библиотечных карточек, регулярно проводит инвентаризацию: треугольник с четырьмя углами, вчерашний день, который наступит завтра, часы, показывающие время там, где времени нет.

Если в ходе инвентаризации вы обнаружите на одной из витрин табличку со своим описанием, а за стеклом – контур, обведённый мелом там, где должны были стоять вы, не волнуйтесь. Это учёт.

6.4. В промежутках между квартирами проживает Ничто. Компания пишет его с прописной буквы, поскольку, в отличие от пустоты, Ничто обладает собственной волей. Ничто не платит за проживание, так как ничего не потребляет, и не нарушает тишины, так как само ею является. Просим не оставлять двери в промежутки открытыми.

6.5. Компания предупреждает о слухах, которые распространяются среди жильцов о происхождении жилого фонда. Утверждается, что весь фонд – сон Первого Спящего, который лежит под огромным дубом, вросши руками в корни, и делает вдох раз в час, и что, если он проснётся, жильцы исчезнут. Утверждается, что фонд нарисован мелом одиноким ребёнком в палате с белыми стенами, который придумывал гостей из собственных страхов, чтобы ему было с кем играть. Утверждается, что над картонным небом лежит первый, предыдущий мир и сквозь трещины в небе из него сочится хрустальный гной. Утверждается, наконец, что всё это – одна и та же история, рассказанная разными голосами. Компания эти сведения не подтверждает и не опровергает. Компания напоминает, что ни одна из версий не отменяет квитанций.

В подвале – архив без названия:

Там мыши ведут каталог

Последних пальто и дыхания

И стёкол, где кто-то не смог...

.....

А может, мы – сон человека,

Что врос под корнями во мху?

Он дышит лишь раз в час. От века

Мы – сны его, там, наверху.

Приложение 7. О швах, трещинах и аварийных выходах

7.1. Швом называется место, где штриховка обрывается и проступает чистая бумага. Компании известно, что жильцы употребляют это слово и в другом значении – как обозначение рубца на теле. Компания не видит здесь существенного различия.

7.2. Перечень известных швов жилого фонда (неполный): задержка звука относительно капли; задержка тьмы относительно щелчка; отставание отражения на такт; сквозняк из шкафа при закрытой дверце; пылинка, которая висит в луче дольше положенного; тополиный пух, выпадающий в одни и те же числа одного и того же июня; повторный показ праздников; лицо снеговика, отложенное на потом; глаза, в которых что-то тлеет, хотя по проекту тлеть там нечему. Жильцам, обнаружившим новый шов, рекомендуется не сообщать о нём в Компанию. Компания знает.

7.3. Аварийные выходы в жилом фонде не предусмотрены.

Двери, нарисованные жильцами самостоятельно – углём, ножом, спичкой, – ведут в точные копии исходного помещения. Крыша выходом не является: с крыши видно только то, что крыши нет. Вода выходом не является: она стирает, но не выводит. Падение вверх выходом не является: высота нарисована тоже. Мир, построенный жильцом самостоятельно, выходом не является: он гаснет вместе со строителем. Сказка выходом не является: она начинается заново с того же места.

7.4. В центре чертежа, в той точке, откуда была проведена первая окружность, имеется место, где бумага проколота насквозь иглой циркуля.

Это единственное место в жилом фонде, где за листом что-то есть. Путь к нему на план не нанесён. Компания не знает, что находится по ту сторону прокола. Компания не знает и того, знает ли это Собственник: циркуль он ставил не глядя.

7.5. Жильцы, ищущие путь к проколу, обычно описывают его как лестницу, которая берёт плату за каждую ступень. Компания не подтверждает существования лестницы. Компания подтверждает существование платы.

Рисую на стенке я двери
Углём, и ножом, и огнём,
Но все они, в той же манере,
Ведут в этот самый же дом.

.....

А в центре, где циркуль вонзился,
Есть дырка насквозь, как зрачок.
Но кто к ней дойти бы решился,
Тот платит за каждый шаг.

Приложение 8. О жильцах

8.1. Жильцы изготовлены по единому шаблону: овал головы, два коротких штриха на месте плеч, торопливые линии без лица. Лица предполагалось дорисовать позже. Срок дорисовки не установлен (см. п. 2.2).

8.2. Не получив лиц, жильцы собирают их сами – из чужих улыбок, подсмотренного удивления, интонаций, заученных по сериалам. Компания не возражает: повторение облегчает эксплуатацию. Жильцам свойственно называть шаблон личностью, повторение – традицией, син-

хронное поведение – дружбой, совпадение частот – любовью. Названия на эксплуатацию не влияют.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.